

МИОМИР  
ПЕТРОВИЧ

ФИЛОКТЕТ  
НА ЛЕМНОСЕ

.....>  
ПЕРСИДСКОЕ  
ЗЕРКАЛО



Bibliotheca serbica

Миомир Петрович  
**Филоктет на Лемносе.  
Персидское зеркало**

«Алетейя»

2001

УДК 821.163.41  
ББК 84(4Югс)6-44

**Петрович М.**

Филоктет на Лемносе. Персидское зеркало / М. Петрович —  
«Алетейя», 2001 — (Bibliotheca serbica)

ISBN 978-5-907030-72-5

Не случайно под одной обложкой оказались два романа Миомира Петровича, действие которых происходит в разные эпохи – Троянской войны и конца XX века. Они прочно связаны одной темой: поисками места личности в суровом мире, что более чем актуально в любое время. Герой первого романа Филоктет наблюдает не красоту античного мира, а жестокость и грязь нелепой войны. Его попытки уклониться от этого не могут увенчаться успехом, как не может сбежать от жестокостей нашего времени Милош Зурбаран, герой «Персидского зеркала». Оба романа, несмотря на столь разные эпохи, связывают воедино не только судьбы героев, но и «горячая линия», на протяжении тысячелетий связывающая Балканский полуостров, Средиземноморье, Малую Азию, Закавказье, Персию. И если «Филоктет на Лемносе» жестко и непривычно трактует древнюю мифическую историю, увязывая ее с современностью, то «Персидское зеркало» демонстрирует тщетность попыток бежать из нашего времени в глубины древней полумифической истории.

УДК 821.163.41  
ББК 84(4Югс)6-44

ISBN 978-5-907030-72-5

© Петрович М., 2001

© Алтейя, 2001

## Содержание

Филоктет на Лемносе	7
1 часть	9
I	9
II	11
III	13
IV	14
V	15
VI	17
VII	19
VIII	21
IX	22
X	25
XI	27
XII	30
XIII	31
XIV	34
XV	36
XVI	37
2 часть	39
I	39
II	43
III	47
IV	52
V	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# Миомир Петрович

## Филоктет на Лемносе. Персидское зеркало

MIOMIR PETROVIĆ  
HEAUTONTIMOROUMENOS  
roman  
PERSIJSKO OGLEDALO  
roman-arabeska

*Перевод книги осуществлен при финансовой поддержке Перевод книги осуществлен при финансовой поддержке Министерства культуры и информации Республики Сербия Министерства культуры и информации Республики Сербия*

© Miomir Petrović, 2001  
© ovog izdanja LAGUNA, 2008  
© В. Н. Соколов, пер. на русск. язык, 2019  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

## **Филоктет на Лемносе роман**





## 1 часть Самомучитель

*Вот и омывтый морем дикий Лемнос —  
Безлюдная, пустынная земля.  
Здесь, о Неоптолем, дитя Ахилла,  
Храбрейшего из греков, мной когда-то  
Оставлен был мелиец, сын Пеанты,  
С больною, загноившейся ногой —  
Начальствующих был на то приказ:  
При нем свершить уж не могли мы с миром  
Ни жертв, ни возлияний — так вопил он  
На весь военный стан, стонал и беды  
Наплакивал...*

*(Софокл «Филоктет»)<sup>1</sup>*

*Я еще в детстве догадывался, что нам никогда в них не жить; мы носимся по неизвестным просторам, как Синдбад на огромной рыбе, или летаем промеж крыльев злого духа, пока их не опалит Аллах. И мы никак не можем спрыгнуть, это выше наших сил. Нас запустили на орбиту, выстрелили, как снаряд, но ведь человек жил так не всегда.*

*В чем смысл и где цель этого ужасного полета?..*

*Пространство, которое пугает вас, всегда одно и то же, и оно равно той черепной коробке, в которую заключен ваш мозг.*

*(Эрнст Юнгер «Гелиополис»)<sup>2</sup>*

### I

Касаясь кончиками пальцев, этими мелкими кожистыми петельками и завитками, на которых прочитывалось все прежнее время, прожитое ими, а вместе с тем и все будущие времена, которые ощутят, переживут и сохранят кожа и фигура перстовладельца, итак, почти касаясь ими самого яда, неподдельного, но одновременно и невидимого, заключенного в наконецнике одной из Геракловых смертоносных стрел, Филоктет не мог не спросить себя, а не есть ли рана под коленом его правой ноги тоже всего лишь иллюзия, сотворенная или воссозданная воображением под влиянием им самим придуманной ядовитости этого оружия, не видимой, но все еще ощущаемой, прозрачной, примерещившейся и несуществующей, в отличие от жизни.

Утро не спеша поднималось над Лемносом, намереваясь воцариться, пока еще вяло и нерешительно, слишком облачное, и потому его можно было назвать утром лишь с некоторой натяжкой, но вместе с тем уже беременное неким иллюзорным оптимизмом, некой облачной ясностью, которая указывала на то, что речь идет все-таки об утре, а не о каком-то другом времени суток, со всеми присущими ему волнами прохлады и соленого морского ветра, что с незапамятных времен сопутствовал каждому восходу нового дня на этом пасмурном куске забытой суши.

---

<sup>1</sup> Перевод: С. Шервинский (Москва «Искусство», 1979).

<sup>2</sup> Перевод: Г. Косарик (Москва «Прогресс», 1992).

Филоктет равнодушно посмотрел в пучину, потом перевел взгляд на южный берег острова, одновременно опуская его все ниже и ниже, к ладони и кончикам пальцев, ласкающих отравленное острие, словно они несколько по-детски заигрывают со смазкой на стальном лице стрелы, словно провоцируют ее ядовитость на укус, чтобы она цапнула указательный палец правой руки, после чего, совершенно определенно, после нескольких коротких судорожных подергиваний, импульсивно следующих от кончиков пальца к лопатке, почти мгновенно наступила бы смерть. Смерть как отягченный судорогой переход из одной формы самосознания и самоощущения в другую, переход, возможно, не такой уж и нежелательный.

Он потянулся с лентой, после чего приказал мышцам поднять бедра и седалище с округлого камня, глубоко вросшего в красноватую землю, потом поднялся, быстро и боязливо, держа стрелу в правой руке, стрелу, место которой было в колчане с другими провозвестницами смерти, который когда-то, в давние времена, в бытность свою человеком, ставший позднее богом Геракл передал в слабые руки юноши Филоктета в тени горы Эты, там, в родной Фессалии.

Вернув стрелу к прочим, в колчан из непромокаемой кожи, которая некогда была похожа на только что ободранную тушу быка, пожертвованного Артемиде, а теперь впитала в себя цинковые краски греческой земли, оттенком напоминающие лемносское небо или окаменевший стон с противоположного берега подземной реки, вернув, таким образом, ее в колчан, Филоктет направился к козам.

Айола, Конелия и Хиспания, а потом и Круда, уставились на него одновременно, после чего самая старая и самая нетерпеливая, Конелия, уставшая смотреть в небо, голодная и потому вполне безразличная, огласила утро сиплым бляньем.

Подобрав с земли четыре веревки, на краях которых белели бороды его коз, Филоктет направился вперед, сопровождаемый их любопытными взглядами, которые они с него не спускали, пока он не удалился на несколько стоп, и пока веревки, затянувшиеся на шеях, не дернули их вперед, не позволяя им, забыв о привязи, направиться куда заблагорассудится.

От хижины перед ним каждое утро разворачивалась петляющая тропа, ведущая от гребня на морском берегу до первых холмов, предвещавших появление гор, тропа, которую следовало преодолеть в следующие четверть часа и добраться до первой долины, в которой, забытая и не взлелеянная, каждый раз появлялась лужайка, поросшая клевером и длинными колосьями мятлика – травы, которую так любит скотинка.

Филоктет уже много лет не общался с животными, хотя когда-то часто упражнялся, замечая по растерянным и смущенным взглядам воздействие на них собственного голоса и собственных слов, которые смыслом своим никак не могли пробиться далее заинтересовавшихся звуком козких ушей. Вот и теперь он молча дернул за веревки и указал им место, где они будут сегодня угощаться.

Он заточил острым лезвием четыре колышка, которые нес из шалаша в пестрой шерстяной торбе, сотканной для него Хрисой собственными длинными крепкими пальцами. Итак, непрерывно прихрамывая на правую ногу, с выработанной годами привычкой, упираясь правой стороной своего тела в ямы и неровности петляющей пыльной тропы, затем подтаскивая более подвижную левую, описывая ею в воздухе огромную дугу, которая по завершении позволяла ему сделать новое движение потерявшей подвижность правой, он заточил четыре колышка, и уверенными движениями, предварительно обмотав их каждый своей веревкой, забил в краснозем, который все еще благоухал влажным утром. (Это продлится еще полчаса, но как только сквозь дымку пробьются первые лучи солнца, все вокруг мгновенно станет сухим и пыльным). Затем он позволил козам встречаться и расходиться в радиусе нескольких десятков стоп, пощипывая, на первый взгляд небрежно, то какую-нибудь травку, то листочки с кустика, а в действительности скрывая под маской равнодушия извечную боязнь возможного исчезновения травы, появления некоего врага, который вынудил бы их бежать, оставив желудки пустыми.

Пока животные спокойно – на первый взгляд – жуют, Филоктет начинает свой каждодневный утренний ритуал. Пеструю торбу следует наполнить горчанкой, корнями дикого шафрана и горошинками ремноцветника, и всё это для того, чтобы молоко стало лучше. Он удаляется от своих коз, и, оказавшись в глубине хорошо знакомой рощи, острый глаз бывшего стрельца, под взором которого никакая добыча не могла долго пребывать в заблуждении относительно собственной неприметности из-за естественной раскраски и наростов на теле, примечает наилучший шафран и самые красные плоды ремноцветника. Вырывает руками растения, и кончиками пальцев, с юношеских лет истонченными тетивой лука и оперением стрел, очищает листья и отделяет только тот плод, который понравится его козам.

Но они «его» только потому, что он пасет их, на самом же деле козы принадлежат царю Актору, который в нескольких часах ходу отсюда, там, на восточном берегу, в своем доме, что террасами из земляных, обожженных в печи кирпичей, более напоминает деревенскую хижину, нежели дворец, также встречает свое новое утро, позволив нежным пальцам Хрисы вычёсывать длинную и равномерно седую бороду. Глядя на девушку с симпатией, а также с некоторым утренним вожделием, с симпатией не к ней, но к своей бороде, которая будет вычесана, он не спеша переводит взгляд к морю и очертаниям далекого берега, туда, еще восточнее, как раз туда, где уже шесть лет лежит в осаде Троя.

Когда трижды в неделю Филоктет передавал молоко слугам Актора, его чаще всего звали внутрь, на чашу кислого молока и ломоть хлеба, а иной раз и на террасу дворца Актора, и оба они, государь и слуга, глядя в пучину (поскольку на всяком острове именно это и есть важнейший вид деятельности), бубнили себе в бороды что-то о непобедимости Трои, которую в исключительно ясные дни, где-то в полдень, можно было увидеть с Лемноса. Фессалиец и житель Лемноса, греческий воитель в роли слуги и провинциал в роли государя. Филоктету заметил, что каждый раз перед тем, как на далеком берегу взвоет столб дыма, столб, который может означать новый приступ греческого войска к стенам, оба они как-то спонтанно, в одно и то же мгновение, переходят к теме раны на Филоктетовом колене, которая не заживает целых шесть лет, но и состояние ее не ухудшается. И тогда грек пальцами поглаживал полужаросшее смердящее гноище и разъяснял царю состав гнойных жидкостей, обращающихся под светло-розовой корочкой раны, такой тонкой и прозрачной, что ее и коростой нельзя назвать, осознавая при этом, что заботливый взгляд Акторовой служанки Хрисы уставился на этот crater под его коленом.

## II

Козы окончательно наелись, и покачивание их округлых животиков как бы предвещало начало работы ветра, а иной раз, мерещилось ему, и производило ток воздуха. Сразу после появления солнечных лучей, после того, как они пробивались сквозь утреннюю дымку, принимался дуть ветер, соответственно, начинала распускаться роза ветров, направление которых никогда и никому не удавалось определить вследствие, казалось, постоянного препирательства, непостоянства, вследствие борьбы за обладание сушей пяти или шести десятков ветреных язычков. По этой розе ветров остров был широко знаменит, и потому мало населен, нежелателен и избегаем. Но дурной репутацией он обладал еще кое из-за чего. Из-за змей.

И при таком турбулентно ироничном порядке вещей на губах Филоктета частенько, если наблюдать за ним со стороны, можно было заметить улыбку, вызванную, скорее, подсознанием, нежели разумом, улыбку, говорящую о глубоком и ограниченном горечью принятии во всем остальном практически неприемлемых обстоятельств, из-за которых его после укуса змеи оставили здесь, вот тут, именно на этом острове, знаменитом своими ветрами и змеями, ветрами, возвращающими его в водовороты войны, на которую он когда-то давно отправился, и змеями, точнее, той единственной змеей, вынудившей его прервать поход.

Каждый раз, сам того не осознавая, он приглушенно хихикал, сгоняя с тропы рептилию, или взмахивая, словно косарь, длинной палкой, чтобы потеребить траву, где будут пастись козы. В траве или меж скал обитали белые змеи, но были там и пестрые, всевозможных сочетаний цветов и нюансов: светло-голубые с крапинками, казалось, ярко-красного цвета вдоль всего тела, зеленые, симметрично обрызганные коричневыми пятнами, напоминающими широко распахнутые глаза обезумевшей женщины, не названные афинскими естествоиспытателями темно-желтые виды с двумя парами малюсеньких усохших ножек, с помощью которых они быстрее обычных змей, прихрамывая, изменяли направление своего движения по отвесным скалам; реже встречались фиолетовые с зачатками глаз, над которыми росло что-то вроде цветов, какие-то рожки непонятно для каких целей, а также те, коротенькие, что вечно переливались своим черно-сивым окрасом по направлению к воде, где эти приспособленцы, совсем как водные животные, очень ловко плавали; конечно, были здесь и очень большие, чье шипение из нор предупреждало о том, что они не желают ни общества, ни жертвы, а также и те, растворенные челюсти которых походят на оскал дикой кошки, и которые, как это ни странно, совершенно не ядовиты и безопасны; были и рябые, все еще недоразвитые, чьи роговые, неравномерно разбросанные пластины покрывали тело в неожиданных местах, из-за чего они передвигались с шумом и скрипом; были тут и симпатичные змеюки, вызывающие жалость уродины, скользкие создания, которые забирались за пазуху спящему чабану, чуть ли не вопя своим страстно-любопытным взглядом, чтобы тот приласкал ее и присвоил, наконец, статус домашнего животного; были тут, чаще всего под соснами, на земле, усыпанной сухими иголками, ультрамариново-голубые с крупными пурпурными эмалевыми щитками, одна из которых шесть лет тому назад на острове Тенедос впилась своими зубами в ногу Филоктета. Именно ее не одарили, но тем не менее было известно, что она куда смертоноснее прочих змей греческого мира, и что после ее укуса следует медленная и мучительная смерть. Были тут, конечно, все те, кто демонстрировал своей окраской жуткую страхолюдность и страстное желание проклятого уродливостью и всеми преследуемого существа быть вновь принятым, вновь завоевать право на всеживотное существование.

Стрелец часто задумывался над тем, не воспринимают ли змеи свою уродливость и отверженность, изолированность от прочих живых тварей, с весьма определенным протестом, тем самым взваливая на себя бремя презрения и злобы как нежелательную, но в приказном порядке поставленную перед ними задачу, которую они выполняют с ненавистью, обращенной на все прочие существа? Долгими ночами они казались ему так похожими на людей. А может, и на него самого?

Другим людям эта привычка к постоянному присутствию змей, тем, которые, наверное, с огромными трудами в течение жизни избегали укуса смертоносных зубов, а тем самым и подземного мира, давалась с огромным трудом. Ему же их присутствие никогда не мешало, скорее даже, в циничном, не столь абсурдном, сколь в наглом и бесцеремонном порядке вещей общество змей он принимал, наверное, как единственный смысл существования, как выражение глубокой взаимосвязи жизней животных, событий и людей, жизней, единственно в которых существовала причина вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Гнев охватывал его только тогда (и то только так, как это бывает с людьми, привыкшими к неволе, с людьми, которые время пребывания на земле измеряют от заточения до заточения), когда обнаруживал уже вздувшееся и покрытое сыпью тело одной из коз его стада, которая после змеиного укуса, опрокинувшись на спину, продолжала по инерции жевать траву, остававшуюся в пасти, и только глаза в торжественной тишине наступившего процесса умирания пульсировали и слезились, как это бывает с огорчившимся человеком, наглядно демонстрируя, как кратковременная паника вытесняет страх смерти.

Паника, за которой следует переход из одной формы существования в другую, возможно, не настолько уж и нежелательную.

### III

Филоктет воспрял от мыслей и подошел к Круде. Она отрешенно посмотрела на него, потом перевела взгляд на пучок травы, который принялась щипать, махнула хвостом, скорее, чтобы приветствовать хозяина, а не отогнать мух, но, поскольку двойственность присутствует во всем, даже именно потому, Филоктет ловко выдернул из земли колышки, резко отряхнул их, так, что с них упали комочки краснозема и прилипшие травинки, и потянул за веревки с привязанными на противоположном конце животинками. Айола заблеяла, звякнула колокольчиком и притихла.

Вскоре после этого хромой козий пастух, который внешне легко сносил смех и издевательства лемноских детей, впадающих в веселье при виде его искривленной фигуры, начал при каждом шаге поднимать вокруг себя облачко красной пыли, потому что годами ходил больше от бедра, чем от колена. Сопровождаемый своими питомцами, он направился к хижине, но кружным путем.

Да, впереди и позади Филоктета, а может, и прямо над ним, с момента появления на заброшенном острове висело эдакое облако издевки, в большей степени даже упрека, нежели издевки, думал козий пастух в минуты величайшей жалости к самому себе, а также самомучения, как это бывает с кающимися грешниками (которые, словно горб, несут тяжкий груз, большей частью самими же и придуманный, самими воплощенный, и теперь несомый как нарост, от которого невозможно избавиться, поскольку он стал составной частью собственного, родного тела).

Прежде всего, эта развалина была выброшена с военной галеры, с корабля греческой армады, которая с самого начала похода на Трою наводила ужас на все моря и всю выброшенную из пучины Зевесовым гневом сушу, и обитатели Лемноса, увидев, насколько они беззащитны, но поняв, что со всеми своими козами, змеями и ветрами, составляющими единственное богатство, не дождутся завоевания или грабежа, или прочих порывов греческого гнева, обрушились на раненого отступника с опаской (поскольку греческие корабли все же могли вернуться за этим человеком, оставленным, может быть, для связи, или кем-то вроде разведчика); но именно потому злые намерения, так никогда до конца не реализованные из-за этой опасности, и трансформировались в издевательства и насмешки.

Но не насмешки мешали Филоктету. Тогда он все еще был занят невероятным надломом собственной воли, его разрывало на равные половины желание вытянуться на прибрежном песке незнакомого острова, где его предательски бросили товарищи по оружию, и дожидаться неминуемой смерти от змеиного укуса, а также решимость отыскать спасение от всепроникающего яда. С другой стороны, он сам довольно долго был собственным мучителем, чтобы обращать внимание на беззубых детишек с деформированными черепами и их отсталых, примитивных, погрязших в кровосмешении родителей.

Вскоре его представили самому царю Актору, властителю острова, который был ничуть не менее примитивен и дик, чем его подданные. Прошло совсем немного времени, и ему даровали жизнь, по тем самым причинам, по которым туземцы сразу не подвергли его избиению камнями как представителя мерзкой и кровожадной имперской армии – опасаясь, что отряды Агамемнона все же могут вернуться за бывшим полководцем. Или все же он был прощенной кучкой бывшего существа, ныне строго ограниченной змеиным укусом и раной, которая все сильнее болела, распространяя ужасный запах?

Минул еще один недолгий срок, и его приняли на службу, без просьбы, согласия, без платы или горячего питания, и даже без крыши над головой, на службу, которая обеспечивала ему одну единственную привилегию – теперь никто на острове не мог убить его без одобрения или приказа Актора, он получил защиту от полудиких людей, от побития камнями. Фил-

октет не интересовал лемносского царя, прежде всего потому, что слава того даже краешком не задела этот остров. Как, впрочем, его слава не составляла сколь-нибудь значительной части злободневных новостей, бродивших по остальному греческому миру. Так и сияющее оружие Филоктета, огромный, разукрашенный искусным ремесленником лук, которым некогда владел Геракл, и длинные смертоносные стрелы не вызывали у Актора чувства зависти. К чему лук и стрелы?

На острове никогда не было торговцев, которые бы нуждались в воинах, и всю его оборонительную мощь составляла троица полудебильных силачей, вооруженных дубинами (поскольку более сложное оружие в их руках было совершенно бесполезным), единственным занятием которых стал сбор налогов с островитян и охрана царской опочивальни. Так что с самого начала существования Филоктета на этом плевке суши, что возвысился над морем, расположившись совсем недалеко от Трои, к нему относились как к куче дерьма. Нетерпимо, но так лениво, что против него ничего не предпринималось. Против этого скорее объекта, нежели человеческого существа.

#### IV

Из всей этой вереницы разгневанных, но все же трусливо и притворно бездействующих людей, которые с самого начала были его врагами, сразу выделилась молодая, преждевременно ссохшаяся, высокая и тощая девушка с детской грудью. До этого она уже дважды рожала. Звали ее Хриса.

Эта девушка с тонкими и довольно-таки кривыми, как-то торчащими из таза ногами (от тяжелого ли труда, или вечного одиночества, в котором вынуждена была сносить многочисленные мужские телеса, воспринимавшие служанку как общественное имущество и всеобщую собственность?), была дочкой главной кухарки царского дома, а отец ее, как это принято на далеких забытых островах, навсегда остался неизвестным. Может, им был сам Актор, потому что должность кухарки (как, впрочем, и любая челядь женского или мужского пола, не имеющая защиты мужа, отца или хотя бы постоянного любовника – тем самым и покровителя) трактовалась как публичная служба. А похоть также была публична. Тем не менее, вполне вероятное отцовство ничуть не мешало царю, которому Хриса сначала прислуживала, расчесывая его длинную бороду, приводя в порядок одежды и подавая на стол, самому посягать на тело своей вполне вероятной дочери при первых признаках желания. Иногда он добивался своего, иногда – нет. Но чаще все-таки да, и потому вполне мог считаться отцом ее двух дочерей, будучи одновременно их дедом.

И вот, следовательно, только Хриса, по какой-то неизвестной Филоктету, а в то мгновение, собственно, не слишком уж важной причине, как-то негромко выказывала симпатию стрельцу, время от времени запихивая ему в руки узелок с сушеным козьим сыром и маслинами. А как-то раз даже тайком всучила суковатую палку, которая помогала ему передвигаться в дни, когда рана настолько захватывала все тело, что было невыносимо жить, а уж тем более передвигаться. Прошло достаточно много времени, и стрелец при каждой встрече худой и кривоногой девушки с его хромой фигурой стал где-то на периферии своих мыслей и догадок замечать чувство необыкновенной теплоты, не энергетической, а в большей степени человеческой симпатии (что с момента появления на острове было для него настоящей редкостью). Но они могли обмениваться всего лишь несколькими словами; потому что, даже если бы и появилось такое желание, оно стало бы неисполнимым из-за незнания языка. Поэтому в первые годы пребывания стрельца на острове (пока он не овладел наречием островитян) можно было говорить скорее о некоей влажности, о некоем сиянии, исходившем из восточных глаз Хрисы и цвета ее кожи, более светлой по сравнению с прочими островитянами.

Первой реакцией Филоктета была не телесная страсть (потому что его нестерпимо горячей любовницей была рана, с ней он извивался днями и ночами напролет на своем набитом сеном тюфяке), ни чувство защищенности и привилегированного положения, которое он завоевал у нее – его первой мыслью была легенда о палладиуме, этой чудесной статуе, которую троянцы берегли в храме, спрятав глубоко в лабиринте строений. Он размышлял о восточном поклонении предмету, но не божеству (как это было в греческих землях, включая родную Фессалию), так что со временем и свою загадочную служанку, у которой, как ни странно, нежными были только пальцы на руках (хотя она была вынуждена заниматься весьма неподходящими для рук и пальцев работами), он стал рассматривать как некий собственный палладиум, следовательно, считать ее более предметом, нежели личностью, и еще в меньшей степени женщиной, предметом, сущность которого он смог постичь только тогда, когда его собственное положение показалось совсем безнадежным.

## V

Теперь следовало преодолеть пересохшее русло, как раз напротив роши, в которой козий пастух наполнял травками вязаную торбу, и достичь странного плоскогорья, утыканного одиночными стволами вязов, которые, совсем как разбредшиеся по полю земледельцы, стояли спокойно, не проявляя излишнего внимания друг к другу. Перед тем, как подойти к первому вязу, козы опять разволновались, хотя дорога была им прекрасно знакома, причем делали это так, как пьяница, осознающий, что он крепко поднапился, начинает злиться на прохожих, словно это они насильно вливали в него полные корчаги вина; так вот, они разволновались, еще раз подтверждая этим человеческое предание о проклятии, лежащем на этом месте и на вязах, о проклятии, которое можно было разглядеть и в неравномерном росте листьев на ветвях деревьев.

По правде говоря, восточная сторона островных вязов каждый раз покрывалась листьями быстрее других, но и раньше теряла их, в то время как западная сторона долгое время оставалась еще зеленой и плодоносящей. Среди немногочисленных и безграмотных обитателей острова, особенно среди тех, кто с большим удовольствием оставался дома или под какой-нибудь иной кровлей (потому что никто из них так и не привык к холодным ветрам, которые, крутясь, кусали друг друга за хвосты и схватывались в рукопашной над самой землей), так вот, среди них бытовало суеверное объяснение, в соответствии с которым богиня Деметра приговорила восточные ветви к быстрому иссыханию за то, что, заснув однажды под восточной частью кроны вяза, она проснулась с волосами, загаженными птичьим пометом.

Вряд ли эта легенда была правдивой, и Филоктет полагал, что быстрое высыхание восточных ветвей лемносских вязов, как, впрочем, и само существование здешних змей, наполнено определенным смыслом, более естественным, нежели божественным провидением, благодаря которому в редкие минуты, когда его охватывало нетерпение, он все-таки не влезал на высокие стволы деревьев, с которых на востоке можно было увидеть Трою и осаду, что все еще должна была продолжаться под стенами города. Именно этот смысл лишал стрельца возможности посмотреть в сторону города, который он некогда желал покорить. Подобные мысли являлись ему особенно часто в ветреные зимние ночи, когда он пытался призвать сон в свою постель из сухой травы. В эти минуты он снова и снова размышлял над символикой засушенной восточной части кроны, трансформируя это явление в историю собственной жизни, а также в историю острова, на котором он сам попал в бесконечную и безысходную повесть о бессмысленности троянского похода, превращая ее в мелкие подергивания капилляров под прикрытыми веками улегшегося, но еще не заснувшего человека, подергивания, которые своими краткими и резкими движениями все больше ввергали стрельца в страх и в сущностную клаустрофобию островной жизни, но никак не могли навеять желанный сон.

Конелия опять попробовала сорваться с веревки, заметив, вероятно, краешком глаза какую-то пахучую травку, которой так недоставало для достойного завершения пира, и Филоктету было совсем нелегко утихомирить подергивание одной из четырех веревок в руке, было нелегко переместить спутавшиеся в узел концы привязей в более сильную правую ладонь и одолеть разволновавшихся животных. Но эта работы вывела его из дремоты, и как только Конелия была возвращена в небольшое стадо, он взбодрился и согнал окончательно растерянность раннего утра и слабость, одолевающую после неважно проведенной ночи. Закачавшись на слабых ногах и решительно дернув левую часть тела, левой ногой он нащупал опору и выбросил правую ногу из ямки, в которую она попала. Рана кольнула его, напомнив не столько о своем присутствии, сколько о том факте, что за все прошедшее время она стала неделимой частью его тела, частью, сросшейся и с ногой, и с самим ее владельцем, частью, задачей которой было производить боль и венчать болью каждое движение стрельца, каждый его вдох и выдох, частью, которая не была предназначена ни для чего иного, но только для боли.

Хромой стрелец выругал козу распоследними словами, плюнул на землю, которая уже стала подсыхать, хотя прямые солнечные лучи, эти видимые снопы светящихся нитей еще не падали на нее, а только грели облака, прижатые к земле солнечным сиянием, и продолжил ковылять со своими козами, которые, как ему, медленно плетущемуся впереди, казалось в минуты жалости к самому себе, не спускали за его спиной взглядов с хромой ноги. Чуткими ушами, казалось, следили за каждым неверным движением или неудачным шагом пошатывающегося хозяина и, почти что цокая языком, махали головами из стороны в сторону, как бы говоря: «НУ И ДЕЛА, РАЗВЕ ТАК ХОДЯТ, А ВОТ НА ЧЕТЫРЕХ НОГАХ ТАК НЕ ШАСТАЮТ, ГЛУПЫЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК!»

Нередко Филоктет замышлял замереть во время одного из таких шагов враскачку, отказаться от походки, вызывающей смех у детей и молчание взрослых, недобрый взглядом отмечающих всё, шепча в спину греческого врага что-то вроде: «Только бы нас это не коснулось», и, наконец, опуститься на все четыре члена, слившись на четвереньках со своей собственной молчаливостью и нервными взглядами (как птица ищет спасения, мечась туда-сюда в замкнутом пространстве), и самому, наконец, стать козой. Потому что тело этого человека помнит лучшие дни, когда оно было прямым, красивым, живым в любую свою пору, подвижным в любую секунду бытия, по-охотничьи напряженным, как тетива лука, и готовым в каждую секунду прыгнуть, напасть или отступить, если надо. Тело этого человека некогда даже в минуты покоя излучало энергию и скрытое напряжение дикой кошки. Теперь же это было не просто далеким прошлым – само воспоминание об этом прошлом стало проклятием.

А может быть, и Хриса, особенно в первые годы его пребывания на острове, в те минуты, когда решалась на некий тайный союз с человеком, которого все избегали после запрета убивать его, может быть, ей тогда удалось разглядеть намеки на прежний гибкий стан воина и гимнаста, и потому, окруженная юродивыми и выродившимися мужиками, охотно пользующимися телом, обернулась душой к больной и хромой фигуре стрельца? Хотя и она, как все прочие, не могла не почувствовать ужасный смрад, который распространяла его нога. Неужели его тело могло быть для нее привлекательным?

Охотник всегда знал, что осознание утраченной гармонии ведет к вечному человеческому отчаянию. Разве каждое человеческое существо не пребывает в непрерывном поиске утраченной дороги, по которой можно вернуться на Олимп?

Уже шесть лет живет Филоктет со смрадом своей раны, сейчас несколько подзажившей, со страшной вонью, раздражающей его собственное нёбо, смрадом, который первоначально заставлял содрогаться не только воинов, но и равных ему полководцев, смрадом, извергающимся из каждой капли его пота, изо рта, из слез, из трепета ресниц, смрадом, который он со смесью стыда, страха и чувства предстоящего умирания невольно испускал каждой порой

своего тела, но более всего этой, теперь в большей степени черной, нежели кроваво-красной рваной дыры.

Мало того, не он живет с раной, а она живет сама по себе на его уже отупевшем от боли теле как гость, который со временем стал значительнее хозяина дома, а сам он – приживала у существующего самостоятельно кровавого кратера, прислушивающийся к только ему понятным импульсам, испуская время от времени пару капель крови, а иной раз и струйку, а то и зеленую слизь, которая, смешавшись с сизыми пузырьками непонятого происхождения, медленно, совсем как змея, скользит вниз по ноге, достигая корней пальцев, стиснутых грубой сандалией, где исчезает, совсем как горная речка, пропадая в отверстии меж стесненных скал, чтобы вновь появиться где-нибудь на поверхности.

## VI

Во время разглядывания этой струйки стрелы часто приходила в голову мысль, покоящаяся в промежутке между сознанием и подсознанием, о том, что истечение жидкости есть не просто рядовое сравнение с истечением жизни, а, скорее, истечение некоего древнего, но все же его личного греха. Необычность этой раны была не только в ее постоянстве, в ее силе и упорно повторяющемся раскрытии, в невозможности ее исцеления; настоящая загадка для него и редких знахарей, пытавшихся бороться с ней, была в том, что состояние ее не ухудшалось, она не была смертельной, но и не залечивалась. Таким образом рана создала некий постоянный вакуум, в центре которого оказался сам охотник, застрявший меж двух дней, один из которых никак не хотел закончиться, а второй не желал наступать, она образовала стеклянный колокол, выделивший и ограничивший болящее место стеклом, болью, которая, как и сама рана, не могла ни закончиться, ни делаться все сильнее. Таким был порядок вещей, сложившийся в сознании Филоктета во время первых лет его пребывания на Лемносе, маятниковая система улучшения и ухудшения состояния раны.

Так, например, долгое время он пребывал в уверенности, что нервозность, беспокойство духа, страх и мрачные мысли вызывают сильные боли и кровотечение. Позже, отказавшись от неверного предположения, он обнаружил, что хорошее питание и чувство сытости суть главные условия для заживления раны. Далее последовали гипотезы о влиянии на рану постоянных ветров и перемен в погоде, а также самая, наверное, оригинальная мысль о том, что рана болит и гноится только тогда, когда котятся его козы, и боль перестает, как только козлят отлучают от материнского вымени.

Невольно, одну за другой, Филоктет отбрасывал эти системы, как утопающий в зыбучих песках в доли секунды отвлеченно, все еще окрыленный активной надеждой, всё-таки осознает, что и третья, и четвертая ветка, за которую он ухватился, оказалась гнилой. В конце концов дерево, склонившееся над воронкой песчаной ловушки, оказывается голым, без единой веточки. И вот, о чудо, тело вдруг перестает погружаться, оставаясь, тем не менее, намертво схваченным гнетущей массой. Так вдруг и его рана переставала болеть.

После примочки из ядовитых опилок, соструганных с одной из Геракловых стрел, которую он приложил осенью третьего года пребывания на Лемносе, рана стала подсыхать, и в человеке проснулась надежда на выздоровление. Но и это продлилось недолго. С наступлением весны вонь опять стала шибать в нос больного, предвещая новый приступ. И это стало правилом. С осени покой, с весны – гной. Теперь он мог передохнуть хотя бы зимой, но и этот факт обрядился в одежды проклятия, потому что в нём тоже крылось лукавство зловещего змеиного укуса на Тенедосе, прямо на алтаре Аполлона Смитийского, на котором Паламед (это трусливое дерьмо со всеми регалиями великого полководца), опустошив этот остров, принес в жертву в знак благодарности за счастливый исход стычки.

Мало кто из знахарей соглашался обломить зубы о его твердый орешек. Первым среди них был Махаон, официальный хирург объединенного войска. Еще на Тенедосе он вырезал из ноги приличный кусок мяса, обложил рану прокипяченными листьями аспануса, припорошил ее толченой видолией, и, не обращая внимания на крупные, с горошину, капли пота, которые появлялись на его лбу, как звезды на черном бархате неба, с силой забил в рану тряпку, пропитанную древним кипрским препаратом. Однако это ничего не дало.

Разве что вопли Филоктета стали еще более пронзительными, реже повторяющимися, но более отчаянными и действующими так, что у стоящих вокруг воинов волосы на голове вставали дыбом, а Ахилл и Одиссей ладонями зажимали уши, ужасаясь нечеловеческим крикам, которые напоминали им об абстрактном, но в то же время и вполне реальном человеческом несчастье, которое могло постичь любого, в том числе и их самих.

Таким же, очень похожим на охвативший страх, был их рапорт в штабном шатре Агамемнона. Начали они решительно, но, добравшись до момента, когда следовало описать состояние Филоктета, их отважные и нетронутые ноги затряслись и покрылись потом, вызванным страхом смерти, и голоса их дрогнули в притворном, торгашеском сочувствии чужому страданию. В тот момент они забыли, как днем раньше оба они встречали рассвет с окровавленными руками, насилая жену одного из предводителей тенедосского войска, которого они даже и порешить честным образом не сумели, надеясь, что вместо них этим займутся солдаты, а потом прирезали жертву собственной похоти. Свой рапорт Ахилл и Одиссей завершили мелким сочувственным причмокиванием: «Похоже, стрельцу не выжить». После Махаона, уже на Лемносе, с грудой боли и с раздраженной, облитой кровью отверстой плотью Филоктета сошлись в схватке еще два знахаря. Первый, умственно отсталый старец по имени Коял, употребил с этой целью чаячьи крылья, обмотав колено Филоктета перьями, не используя для этого ни одной вещи, созданной человеческими руками (платок или полотно), прижал их кулаком и не отрывал его от раны два дня. Накачивая несчастного многочисленными противоядиями, а таковых было очень много, судя по тому, что на Лемносе из всех знахарских искусств сильнее прочих развилось умение бороться со змеиными укусами, а также с воспалением ушей, вызванным ветрами, Коял все больше и больше нервничал. Едва сняв повязку с дыры, он принялся что-то бормотать на своем эольском диалекте, которым фессалиец овладеет только через несколько лет, когда в нем самом случится серьезная перемена. Старец, видимо, пришел в ужас от того, что в результате его лечения рана стала выглядеть еще страшнее, что, похоже, прочистило его ум, и он отрезвел. А рана становилась все страшнее и страшнее.

После Кояла еще только юноша, совсем зеленый и усыпанный мелкими черными мягкими бородавками, отважился взяться за лечение раны. Чего только мальчишка не наносил на нее – всевозможные травы этого ветреного острова, потом яд змеи, родственной той, что с шипением высовывала свой узкий язык из оскольчатых трещин алтаря. . . В момент полного отчаяния юноша окропил рану собственной спермой, которую он, будучи еще невинным, он считал целебной. Но и это ничего не дало.

Несколько дней спустя стрелец, впав в отчаяние, ковылял, привыкая к новой походке. Он исследовал остров, сопровождаемый шипением многочисленных змей в кустах, где и натолкнулся на служанку Актора, которая за несколько недель до этого уже начала совать ему в руки, молча и зачастую даже не глядя на него, свертки с украденной, очевидно, едой. Хриса словно явилась из центра земли – вдруг материализовалась тут, у куста, с которого собирала ягоды. Одета все в то же старое и слишком широкое для нее, тощей, платье, она впервые пристально посмотрела на стрельца. Филоктет замер.

Он не знал ее языка, что не было странным, и она не понимала ни единого слова из его языка, а это вот было удивительнее. Однако позднее Филоктет понял: именно это и пристало служанке. Она не была стеснительна в том смысле, чтобы скрывать симпатию к существу, с которым никто другой не желал общаться. Она казалась затаенно истеричной, возможно,

невольно, из-за крупных восточных глаз, контуры которых так трудно было определить (где начинается череп и где кончается глаз), глаз, протканых полопавшимися капиллярами, что свидетельствовало об огромном внутреннем напряжении.

Рассмотрев и в первый раз серьезно обратив внимание на эту особу, Филоктет моментально забыл злость, с которой отправился в бесцельную прогулку со своим хромым телом, непреодолимым препятствием и одновременно – источником злобы. Он еще не успел как следует удивиться неожиданному появлению, как из-за ее ног с вздутыми венами, из-за того же куста вылетели мелкие детишки – две растрепанные девчонки разного, но в то же время неопределенного возраста, сопливые и замурзанные, но, судя по огромным глазам, несомненно ее собственные. Она потрепала их по головкам, словно давая тем самым знать стрельцу, что это ее дети и что, если понадобится, она защитит их от него. Взгляд ее необычно долго задержался на его глазах, после чего быстро перескочил на тело, которое она моментально словно впитала в себя. А потом она обратилась к нему, очень глупо, так, как поступают люди, разговаривая с иностранцем, о котором точно известно, что он не знает ни одного слова на их языке – сначала небрежно, а потом всё запутаннее, неясно бормоча и глотая звуки, создавая вместо моста взаимопонимания непреодолимую стену, выстроенную одним лишь инстинктивным отрицанием факта существования других языков. Прекрасно понимая самих себя, они злятся на не понимающего их чужака.

Заметив, что ее обращение не доходит до Филоктета, поскольку тот, замерев в своей боли, смотрел на нее без всякого выражения, не понимая и не желая ничего понимать, она стала использовать руки и жесты, чтобы изъяснить ему готовность помочь в излечении раны.

Что оставалось Филоктету? В тот момент ничего. Тем не менее, он вспомнил про оружие Геракла, которое тот, в то время человек, а позднее – полубог, сунул ему в еще слабые руки. И потому он решил с помощью этой высокой и капризной женщины поскоблить острие одной из стрел в колчане, смазанное таким ядом, что царापина, нанесенная им, несла быструю, сопровождаемую страшными судорогами, смерть. Он понимал, что был всего в шаге от самоубийства. И, может быть, именно потому завернул ядовитые опилки в тряпочку и попросил служанку прижать сверточек к открытой ране. После чего закрыл глаза.

О том, что тогда бродило в его сознании во время приготовления к смерти, которая в ту минуту казалась такой желанной, Филоктет вскоре и вовсе перестал думать. Или, может быть, запер эти мысли в одном из садов собственной совести, или в каком-нибудь чулане, чтобы они не мешали свободному движению?

Странно, его организм не отреагировал на яд Геракла, которому исполнилось много лет, а может, и столетий, который сеял всюду вокруг себя смерть, не трогая только стрелца – нового обладателя провозвестников смерти, надежно скрытого от его жертвы с пальцами, судорожно сжатыми у оперения, и с глазом, замершим на мишени. Два месяца спустя, когда остров утонул в осени, гноище несколько затянулось, образовав почти прозрачную пленку, чтобы летом вновь проснуться вместе с окружающей его природой. Но, как ни странно, яд со стрелы спас Филоктета от верной и болезненной смерти, которая уже начала потихоньку проникать в лагерь его жизни.

## VII

Как только человек и его животные вышли из редкой рощицы одиноко стоящих вязов, над островом вспыхнуло солнце, полосы горячего света ударили в землю, в человека под небом и в стволы вязов, а козы, ожидая, видимо, нового налета ветра, обеспокоились, готовые, в случае возникновения на пути любой неожиданности, тут же вернуться на богатое травами плоскогорье, где они только что угощались. Филоктет сильнее потянул их за веревки, и Хиспания принялась блеять, но, поскольку с утра мужчина был вял, у него не возникло ни малейшего

желания вступать в борьбу. Он поймал равновесие на правой, раненой ноге, и поднял левую, гибкую и абсолютно здоровую, как бы намереваясь сделать шаг, но тут неожиданно перескочил через лужу и пнул козу здоровой ногой. Хиспания взблеяла и принялась отыскивать взглядом прочих коз, требуя от них поддержки и подтверждения ее прав, но те, сами только что бывшие взволнованными, посмотрели на нее равнодушно, словно их слишком утомляло сопротивление, которое, безусловно, следовало бы оказать. Упрямица разочарованно вернулась в маленькое стадо.

Стрелец повел коз тропой вдоль гряды зазубренных скал, предвещавшие горы, которые вскоре появятся перед ними, и направился к хижине несчастного Фимаха, старца, телом и умом пострадавшего от браков между ближайшими родственниками. Фимах ежеутренне чистил перед своим домиком медные сосуды с проволочной ручкой, в которые Филоктет доил коз и в которых потом относил молоко царю.

Стрелец знал эту дорогу как пять своих пальцев, он мог бы пройти по крутой тропе и с завязанными глазами, мог бы и ночью пересечь весь остров, но его знание, как это бывает у хромых людей, основывалось на микрорельефе дорог, на всех этих колдобинах и небольших, но для него иной раз непреодолимых неровностях. Однако эту тропу он знал лучше прочих из-за зубчатых, словно заостренных скал, что устремлялись от основания в высоту, будто остатки фундамента прежних гор, которые, неудовлетворенный первоначальным проектом, Зевс оторвал от поверхности и поднял в небо, чтобы потом, может быть, поставить на иное, более соответствующее его планам место; он знал ее из-за скал, которые ему с первого взгляда краешком глаза, регистрирующим новые формы, напомнили широкоплечих воинов в великолепных доспехах, что движутся с обнаженным оружием (неся в себе страх смерти и еще больший страх – боязнь поражения) на Трои.

Так он их и называл, именами бывших соратников. Стоило только вновь подумать об этом, как перед ним поднялись, словно вышедшие из морских глубин, Менелай (по прозвищу «мощь народа») и Агамемнон (по прозвищу «очень решительный»), а за их свитой, но куда жестче ее, Одиссей (по прозвищу «злой»), Паламед и Диомед. Слева, из направления, откуда утром являлся свет солнечного шара, являлись перед ним в каменном корабле очертания Идомея и Ахилла (по прозвищу «тот, без губы»), Аякса, а затем и Феникса. В этом хороводе греческих полководцев слегка грустно, чуть свирепо, и конечно же, скромно он изваял самого себя в облике черной, высокой, скрюченной скалы.

Может, при выборе именно этого создания природы для собственного изображения решающим стало ближайшее дерево, которое напомнило ему длинный изогнутый лук Геракла. Там действительно был он, в обществе тех, с кем решил больше никогда не иметь дела, в обществе, из которого его вычеркнул укус змеи, и был он во главе небольшого, но хорошо известного своей решительностью мелибейского войска, и эта каменная машина была для него действительно воплощением давно потерянного для всех лучшего стрельца Фессалии, воплощением Филоктета.

И надо же, именно рядом с этой ужасно корявой скалой он обнаружил скрюченное, ростом весьма достойное, а по названию неизвестное ему дерево, которое от самого корня росло как-то кривовато, словно сломанное пополам налетом ветра, а потом все-таки выжившее и оставшееся таким, какое есть, дерево, которое в минуту бессознательной нежности или перевозбуждения назвал Хрисой (по-гречески «золотой»).

Вся это груда острых скал напомнила Филоктету совершенно конкретное, замершее во времени мгновение, когда эта плеяда воинов собиралась в поход, и даже решительно начала его, напомнила ему грозовой день на Авлиде. Скала Агамемнона, скажем, взяла его штурмом и сама себя обозначила двумя черными полосами, возникшими, наверное, от струй дождевой воды, стекавшей с туповатой вершины; они напоминали ему кровь, стекающую с рук Агамемнона, кровь его дочери Ифигении, которую принес в жертву этот взбалмошный, бесстыжий,

туповатый дикарь, слепо верящий каждому слову своих жрецов, но так и не научившийся правильно возлагать жертву на алтарь, этот «правоверный» верующий, на самом деле псевдоверующий, безразличный, готовый по наговору никчемного пьяницы – верховного жреца Калханта, убить собственную дочь всего лишь из-за ветра, не позволившего отплыть греческой армаде.

Вторая скала, Одиссея, также своим обликом сама себе повелела назваться Злым. Филоктет уже при первой встрече заприметил длинный камень, который невероятно походил на большой кривой нос Одиссея, а мох около этого камня напоминал нездоровый цвет кожи этого человека, хитроумного Одиссея, притворившегося сумасшедшим, когда надо было отправляться на войну, но моментально, стоило Менелаю лишь намекнуть на возможность встать пограбить, стал еще каким нормальным, даже сознание его прояснилось; и Одиссея, следовательно, напомнила Филоктету эта скала, его непостоянное, но инстинктивно лживое естество, его нос, который, когда владельца подлавливали на лжи или перевирании, начинал виснуть, позволяя губе прикрыть ноздри и придавая лицу хитрованское выражение. Напоминала ему эта скала закутанного, жиром заросшего «героя» с Итаки, что надоедливой и преувеличенной любезностью старается внушить людям, какой он воспитанный, культурный и исключительно храбрый воин, а на самом деле – обычный герой застолий, где с большим жаром рассказывает о хорошо приготовленном блюде, чем о самой битве.

То же было и с другими каменными фигурами, торчащими в лемносских пейзажах, которые сами себя назвали греческими героями, в то время как Филоктет, гораздо позже них прибывший сюда, сорвал маски и истолковал их истинную сущность.

Между тем стрелец и козий пастух, сопровождаемый из-за своей неуверенной походки облаком пыли и козым бляньем, спешно миновал скальный массив, названным им «День на Авлиде», и оказался посреди долины, в которой нельзя было не заметить дом Фимаха.

## VIII

Хижина Фимаха была возведена из досок, оставшихся от какой-то великолепной постройки, и камней, которые своей естественной плоской формой напоминали черепицу, хотя на самом деле были случайно собраны в поле.

Перед хижинкой не были ни одной живой души. У Фимаха была привычка оставлять вычищенные и приготовленные для сбора молока сосуды, после чего он прятался, чтобы понаблюдать, как бывший полководец собирает их, позвякивая вследствие своей хромоты металлом, и как он направляется кружным путем к своей хижине-загону, таща на веревках коз, которые в некоторой мере тащат и его самого.

Филоктет взял сосуды; и в самом деле, каждый из них так был надраен песком с морского берега, что легко можно было рассмотреть склонившееся над ободком лицо. Фимах прекрасно знал свое скромное дело, потому что голова запросто слетела бы у него с плеч, если бы царь обнаружил в молоке хоть крупицу грязи. И стрелец тоже с самого первого дня осознавал, что Актор, едва появится малейший признак отхода греческих войск из-под Трои, убьет его за малейшую провинность. Приняв сосуды на плечи, он и в самом деле звякнул ими, как разукрашенные флажками афинские или коринфские праздничные колесницы, и двинулся вниз по тропе, уводя за собой стадо.

Из ближайших зарослей кустарника, что навис над отрезком тропы, послышался треск сломанных веточек, и Хиспания тревожным голосом отозвалась на него. Филоктет остановился, нащупывая правой ногой удобную позицию в выбоинах тропы, потом ловко перебрал палку из правой руки, нагруженной медными сосудами, в левую, и приготовился. Приготовился отогнать заблудившуюся змею, которая, запутавшись в ветках, может стрельнуть языком в коз или человека, ударить в темя, если понадобится, или спугнуть дикую кошку, что слишком небрежно изготовилась к прыжку из зарослей.

Но из кустов вылетело несчастное человеческое существо.

Одна нога короче другой, позвоночник искривлен, а невероятно ловкие руки завершились длинными ногтями, более напоминавшими когти, икры поросли кудрявыми волосами, в большей степени приличествующими животному, а тело покрывала кожа, на которой местами торчали пучки шерсти. Это был Фимах.

– Обманчиво всякое утро, являясь в полном сиянии солнца, о Филоктет, но если оно такое, как ныне, в пестрых стадах облаков, разгоняющих змей, и с ветрами, владык у которых не было, нет и не будет, значит сие, что день будет добрым, – продекламировал на одном дыхании Фимах, велеречивый, как обычно, непонятно где и как получивший образование, этот полудебил, бесконечными словесными загадками напоминающий некогда здорового и умного, но теперь, судя по внешнему виду, давным-давно проклятого человека.

– С тех пор, как я узнал эту пустошь, выброшенную с морского дна на обозрение человеку, каждое утро здесь одинаковое, – ответил стрелец, в глубине души все же растроганный тем, что можно хоть парой слов, пусть непривычно выстроенных, но произнесенных на настоящем греческом, обменяться с более-менее человекоподобным существом.

– Иной раз думаю, вонючий пастушище, что любишь ты сей камень, окруженный морем со всех его сторон, – извергли уста чудовищного создания. – Известны ли твоим ногам дни лучшие, ответствуй? – не отставало оно.

– Известны, – процедил Филоктет, принимая этот диалог как часть ежеутреннего ритуала, начинавшегося собиранием плодов в роще около пашни, ритуала, который, несмотря на непрерывное повторение и тотальную предсказуемость, все же задевал сознание Филоктета своим ядовитым язычком.

– Да будет твое молоко все жирней и жирней, чтобы мог я все лучше чистить сосуды! – воскликнул на прощание Фимах и ядовитым взглядом, усиленным собственным уродством, проводил хромоногую и его животных, миновавших поворот и начавших спуск к морю, появление которого истонченные и чувствительные ноздри раненого отметили прежде, чем оно само появилось на горизонте.

Филоктет разозлился на себя за то, что, дивясь Фимаху и его загадочному владению греческим языком, он воздерживается от хорошего удара суковатой палкой по этому уродливому, варварскому бурдюку, вечно задирающему его. Потом он подумал, что старец хочет от него именно этого, даже с похотью ожидает, как всякий урод, понимающий воздействие своей отталкивающей внешности. Но на этом его мысли незаметно оборвались, прекрасноутренний покой, овладевший им, полностью стер похмелье во взоре, и ладони почти вдохновились восторгом наступающего дня, хотя он и знал, что подобное самочувствие продлится не долго, и где-то вскоре после скромной полуденной пищи, которую Хриса тайком оставила ему, чувство это полностью растает. И эта встреча заставила его бросить взгляд в пучину, просматривавшуюся с северной стороны острова, и опять прочувствовать неверность собственной походки, которая все еще, даже шесть лет спустя, так и не стала составной частью его личности. Она гонит его к разделительной линии прошлого, которое скрыто является из пор сегодняшнего дня.

## IX

Для Филоктета Геракл никогда не был богом, каким его считали в прочих странах. Может быть, потому, что он участвовал в подготовительной фазе его восхождения на Олимп, в прологе, что он потратил на это порядочное время, переломный, можно сказать, момент собственной юности. С другой стороны, после всего, что случилось и что он совершил, Филоктет вообще перестал верить в богов и в некую заранее определенную и сориентированную, расчетливую силу, которая как бы влечет человеческие жизни в определенном направлении. Если

он вообще когда-либо и верил в нечто подобное, то куда больше внимания обращал на свои чувства, на пальцы, держащие натянутую тетиву лука, больше верил в доступное ощущениям и конкретно существующее в этом мире.

Тем летом в Фессалии было очень тепло, и цикады в голос кричали о предстоящих пожарах, который мог в любой момент вспыхнуть в любой сосновой рощице на отрогах Мелибеи и Эты.

Филоктету было шестнадцать лет, и он уже тогда знал, каким способом можно отделаться от необходимости пасти отцовское стадо, как и под каким предлогом можно сбежать в милые его сердцу леса, чтобы там с маленьким луком поохотиться, правда, не всегда успешно, на белок и мелкую птицу. Лето врывалось под тряпки, наброшенные на его худое и болезненное тельце, поверхность которого уже начала роситься мелким, все еще не пахучим потом, который Демонасса, мать Филоктета, считала предвестником редкой болезни, которая из поколения в поколение передавалась в их роду. Отец Филоктета терпеть не мог прорицание будущего любого рода, равно как и чтения знаков будущих времен, и его еще в молодости обветренное на море морщинистое чело немедленно собиралось в грозные складки, стоило ему услышать какое-нибудь из жёниных суеверий. Мальчик был абсолютно здоров. Мало того, он демонстрировал неустанный желанием подвергать испытаниям собственное тело, экзаменовал этот не очень тяжелый кусочек мяса, костей и крови, и мудрый, хотя и обеспокоенный, Пеант не слишком волновался по поводу здоровья единственного сына. Прежде всего, он сам в молодости пробовал преодолеть физические возможности собственного организма (тогда еще не очень сильного и вскормленного исключительно постным молоком Магнесии), когда, пройдя пешком пятьдесят три дня, с несколькими товарищами присоединился к аргонавтам, отплывавшим на поиски золотого руна, которое так никто и не обнаружил, но которое им заменили многочисленные приключения и странствия.

Это путешествие скромного пастуха Пеанта, который потом, поломав зубы о крепкие орешки и испытания, возникшие во время плавания на «Арго», вновь стал пастухом в зеленых лугах Фессалии, именно это путешествие, собственно говоря, превращало его в героя и меткого стрельца, воина, иной раз и в капитана корабля, доказав тем самым, что человеческое тело куда как выносливее, чем кажется его владельцу. Что оно не менее сильное, чем сам дух, если даже не еще сильнее.

Поскольку и он не был фанатично верующим, то религиозные обряды отправлял, думая более о мертвых родителях и родной Магнесии, о собственном стаде, в котором он отлично знал каждую голову (не от родителя ли унаследовал мальчик такое непосредственное отношение к животным?), а не шептал молитвы богам, воздевая руки, умытые кровью жертвенных овец.

Итак, то лето было исключительно душным, тяжелым своей невыносимой жарой, раскалявшей каждый камень и каждую травинку, каждый сад и даже каждый дрожащий высунутый язык скотины. Бушевала энергия сожжения. Было так жарко, что усталые, угнетенные провинциальной жизнью жрецы временно закрыли храмы и жертвенные алтари. Жара, казалось, не мешала юноше. Напротив, это был самый теплый год, который вкусило его тело, и ему казалось, особенно в минуты, когда он натягивал плохо сбалансированный лук и пот капал со лба на брови, которые, сдвигаясь, посылали его далее, вниз по щекам, что рука его была увереннее, а глаз зорче и точнее, чем когда бы то ни было. И в самом деле, скрывая от отца великую, необузданную страсть к стрельбе из лука, когда стрелы, шипя в воздухе, не только обещали добычу, но и подтверждали способности охотника, он наполнял свой домик в кроне огромного дерева шукурами белок и котят дикой кошки. Охотничью страсть он скрывал прежде всего от отца, потому как Пеант по какой-то неизвестной юноше причине ругался и плевался при каждом появлении в их селении стрельцов или охотников с луками.

Однажды Демонасса, сбивая у ребенка винными компрессами температуру, вероятно, чтобы повеселить его и отвлечь от мыслей о собственном здоровье, поведала историю, главным действующим лицом которой был отец-аргонавт. Приглушив голос, чтобы убаюкать или внушить ребенку, чтобы его воображение навсегда сохранило свою силу, мать рассказала о том, как давным-давно аргонавты приблизились к острову Крит. И только потом, когда всё уже произошло, мореплаватели узнали историю о Талосе.

Так звали небольшого, но божественно сильного человека, о котором из-за цвета его бронзовой кожи говорили, что он – последний из оставшихся в живых людей, народившихся из коры ясеневоего дерева. Критом тогда правил жестокий Минос, а Талос был его слугой, исполнявшим сложную задачу: каждодневно он обходил остров и забрасывал камнями или небольшими скалами всякий корабль, кроме своих, проплывавший мимо Крита. Увидев «Арго», который, заблудившись, намеревался пристать к острову, Талос бешено закричал и принялся осыпать судно огромными камнями. Аргонавты ответили на нападение стрелами, но Талос ловко уклонялся от смертельного соприкосновения с ними. Ветер прекратился, и аргонавты не могли развернуть свой корабль назад, в открытое море, к тому же ни один мореплаватель не смел опустить лук, чтобы взяться за весла. Ни туда, ни сюда. Когда положение стало безвыходным, когда несколько камней пробило дощатую палубу галеры, одна из множества выпущенных стрел совершенно случайно, ведомая божественным провидением, угодила прямо в пятку бронзового существа. Когда «Арго» причалил к берегу и моряки сумели подняться на скалы, где стоял Талос, у них перехватило дыхание. Пеант сам увидел неподвижное скрюченное тело, как будто на самом деле бронзовое, излучающее какой-то демонический свет, в то время как из раны на пятке (из которой еще торчала глубоко впившаяся стрела) медленно сочилась некая прежде невиданная и не соответствующая природе человека жидкость, напоминающая жидкую бронзу, смердящая и густая. Талос умирал, распространяя вокруг себя жесточайший смрад, умирал на нескольких непонятных языках, совершенно разных по мелодике, выпучив дурные глаза, казалось, проклиная мореплавателей и всех их будущих потомков. И как только вытекла последняя капля жидкости, чудовище простилось с жизнью.

Увидев все это, Пеант, ужаснувшись (видимо, руководствуясь юношеской поспешностью в принятии серьезных решений), бросил лук со стрелами и поклялся никогда больше не касаться их. И в самом деле, много лет спустя, будучи уже главой семьи и хозяином небольшого стада овец и ягнят, Пеант избегал даже смотреть на оружие. Так молодой Филоктет из-за траурного молчания отца и приказа не упоминать лук и стрелы, был вынужден устраивать маскарад и плести паутину лживых отговорок и оправданий, чтобы тайком построить небольшую хижину в лесу недалеко от селения, в которой прятал свой неловко, непривычными руками смастеренный лук, стрелы, а также мелкую добычу.

Так что отец не принимал участия в первых упражнениях и овладении невидимыми, только наощупь доступными тайнами стрелецкого искусства своего сына, который, хотя и щедушный телом, мог сутками прятаться без оружия в руках, наблюдая за белками и лесными мышами, мысленно пуская стрелу в воображаемую добычу, днями напролет преследовать животное, чтобы проникнуть в его привычки и тайны, чтобы, наконец, мысленно слиться с ним в единое целое.

И только потом он принялся изучать само искусство стрельбы, приступая тем самым, бессознательно, руководствуясь только собственными ощущениями, сначала к добыче, и только потом к человеческому искусству эту добычу добывать, превращаясь в великолепного стрельца. Именно в то жаркое лето, в один прекрасный день, передвигаясь по лесу с кривым луком и колчаном, сделанным из шкурок котят дикой кошки, юноша услышал совершенно необычный звук в многоголосом и хорошо ему известном мире шумов на склонах Эты.

## Х

Это был тонкий протяжный звук, скорее стон, нежели крик, что-то вроде кошачьего вопля в период спариванья, однако слишком тихо и почти произвольно воспроизведенный, как-то слишком плоско для животного, слишком тихо для того, чтобы быть очень далеким, и чуть более человечно, как стонут раненые мужчины, но то был стон, уже заглушенный болью, которая, похоже, была настолько сильной, что притупила мощь голоса. Тело Филоктета мгновенно остыло, с ног до головы, до самых коленей, его впервые, пожалуй, облил сам страх, страх неизведанного, глубоко затаившаяся ледяная жидкость, с которой невозможно ни объяснить, ни спорить. Тем не менее (наверное, именно в эти мгновения юноша усваивал настоящие охотничьи инстинкты), в нем проснулась странная любознательность, сопровождаемая скорее сиюминутной, но еще не настоящей храбростью. И юноша пошел на звук.

Шагая по земле, усыпанной сосновыми иглами, минуя испуганных шустрых зайцев, которые, уносясь в панике, перебегали ему дорогу (лукаво глянув на него и скатившись в ближайший куст или в какие-нибудь безлистные заросли), Филоктет шел на стон, который не стихал и не менялся, хотя юноша был все ближе и ближе к нему.

Здесь, справа от лесной дороги, у подножия высоких, выросших вокруг неглубокого провала сосен, у ручья, который скорее клокотал, нежели журчал, прямо на земле, невдалеке от кривой тропинки, Филоктет разглядел что-то такое блестящее, какое ему ранее не доводилось видеть, воплощение собственной прекраснейшей мечты, творение, которое его, все еще неловкие руки, были не в состоянии произвести.

Лук, а рядом с ним – колчан со стрелами.

Юноша ущипнул себя за щеку и опять посмотрел на землю. Оружие было сделано твердой рукой великолепного мастера. Оно светилось. Лук, на который уставился его нервный взгляд, был огромным, длиной в четыре стопы, изогнутый по краям, с двумя искривленными отростками в центре, обмотанном лентами сыромятной кожи, и все это было оковано металлическими гривнами. Тетива была шелковистой, и фантазия юноши моментально перебрала в памяти всех возможных животных, из жил которых можно было сплести такую светлую, почти прозрачную, тонкую и в то же время прочную нить, соединяющую верхнюю и нижнюю части оружия. Тетива сверкала, освещенная двумя пересекающимися солнечными лучами, которые, пробившись сквозь переплетенные густые кроны сосен, играли на оружии.

Рядом с луком лежал колчан из светлой, почти розовой кожи, которая, казалось, была только что содрана и еще хранила запах мяса и крови. В нем покоилось десятка три, а может, и больше, огромных стрел, самых больших, какие только доводилось видеть юноше. Их верхушки были скрыты внутри колчана, но оперение, выглядывавшее наружу, было жестким и, как и тетива, светилось, так что Филоктету показалось, что оно, наверное, смазано каким-то жидким металлом. Он в смятении, почти как под гипнозом, рассматривая это прекрасное творение умелых человеческих (а может, божественных?) рук, погрузился в тишину, которую более не нарушали стоны, призвавшие его на это место. В мгновение, когда его десница выпустила собственный, по сравнению с этим не просто детский, но вообще никакой лук, он глянул вправо, в провал, где рассмотрел скрытые кустами очертания человеческого тела. Стоны усилились, и юноша медленно, собравшись с силами и одновременно сопротивляясь желанию прикоснуться к гигантскому оружию, подошел к кустам и увидел его. Его.

На земле лежал мужчина в годах, но с заметно крепким, покрытым пластами мышц телом. Голова его была огромной, и на бескомпромиссный, уже привыкший к гармонии взгляд юноши, несоразмерной с телом гиганта. Это было впечатляющее воплощение человеческой силы.

На мужчине был белый хитон, вышитый тончайшими нитками, и короткая, едва достигающая колен, хламида. Его стопы были огромны и так же несоразмерны, может быть, из-за сандалий, ремни которых поднимались аж до колен и были затянуты так туго, что врезались в мясо, и мышцы на икрах образовали два бицепса, словно изваянных из камня. Однако, несмотря на впечатляющий вид, он был в ужасном состоянии. Не замечая присутствия онемевшего юноши, мужчина сильными и грубыми руками с длинными узловатыми пальцами держался за вздымающуюся грудь, обозначенную даже под толстыми слоями материи мощными мышцами. Потом его, сотрясавшегося каждой частицей тела, тошнило красноватой слизью, за тошнотой последовал мучительный и прерывистый кашель, будто он хотел вывернуть себя наизнанку.

Юноше не приходилось еще видеть настолько больного человека, больного, который каждым своим вздохом намеренно сокращал время, оставшееся до смерти. Он выразительно пялился на сильного мужчину, которого выворачивало наизнанку, лишь бы незнакомец поскорее обратил на него внимание. И тут Филоктет молниеносно, с силой оттолкнувшись от земли, нырнул в кусты, надеясь найти там достаточно надежную защиту с тыла, чтобы попозже выскользнуть с лужайки прямо на тропу, ведущую в селение. Однако мужчина крикнул настолько глубоким голосом, что, казалось, сам его звук прижал юношу к земле.

– СТОЙ! Во имя всего... прошу тебя... – разнесся голос незнакомца. – Куда ты бежишь?! Разве ты не видишь, как мне плохо, разве я смогу поймать тебя?.. Не бойся. Ничто постороннее не проникло в мое тело, похоже, это всегда жило во мне, и только время не позволило ему развиваться раньше, а вот теперь началось. Как будто оно пряталось за дверцей в каком-то органе моего тела, выжидая старательно и терпеливо в смертоносной засаде, выжидая мгновение, когда эта дверца отворится и выпустит бестию на волю. Этот путник, или гость, которого мы всю жизнь носим в себе, пытается окончательно овладеть... – гремел гигант, подавляя, казалось, буйством слов притихшего, но не прекращающего ворочаться зверя, о котором он решил рассказать.

– Как я могу помочь тебе?.. – задрожал обезумевший от страха фальцет Филоктета, не желающий признавать давно начавшуюся мутацию голоса молодого человека, который именно в этом возрасте перестает быть мальчиком, похожим на юношу, и становится юношей, похожим на мужчину.

– Жаль, что мы знакомимся в таком состоянии... меня зовут Гераклом, дитя... А тебя? – вспорол небо мощный баритон.

– Я... я Филоктет, – ответил юноша, охваченный непонятной дрожью, охватившей его до кончиков пальцев и забившейся даже под ногти, лишив тело гибкости.

– Филоктет, – повторил чужак, – прекрасное имя. Оно означает любовь к обладанию. Чем бы ты хотел обладать, дитя?

– Не знаю, то есть, никто никогда не объяснял мне, что означает мое имя! – ответил юноша, уже слегка успокоившийся, не без неясной гордости и щекотки в носу, вызванными значением его имени, как будто в этом было что-то особенное, что-то выделявшее его из толпы прочих, имена которых тоже что-то означали, но не были такими многоговорящими.

– Я очень болен, и чувствую приближение колесницы, все чаще в ушах у меня раздается цокот влачащих ее коней! – продолжил чужак.

– Я ничего не слышу!

– Правильно, ты ведь не умираешь! Помоги мне... – опять, теперь уже тише, словно в ожидании новой волны дикой боли, произнес Геракл.

– Но как? – юноша вновь приготовился бежать, но точно в такой же степени ему хотелось остаться.

– У меня осталось ровно столько сил, чтобы собрать эти ветки в кучу и умереть на ней. Пришла пора. Я видел многое из того, что не дано увидеть людям: реки благодаря силе моих

мускулов меняли русла, стада овец за ночь меняли цвет шерсти после встречи со мной, мои стрелы и их яд отнимали жизнь у людей, пламенем полыхали горы... А ты знаешь, как поступают с мертвыми? – произнес он и надолго закашлялся.

– Знаю. Кажется, знаю... их поднимают на возвышение из сухих листьев и веток... потом кто-то из родственников, кто-то близкий, зажигает факел... и они... они исчезают в дыму и, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть на оставшихся, поднимаются прямо на небо. Разве не так?! – юноша гордился не только знаниями, но и речевыми оборотами, которыми он эти знания демонстрировал.

– Именно так! – Геракл кивнул головой, и голос его напомнил отцовскую ласку в ответ на правильно выполненное задание, он прозвучал дружески, возможно, даже несколько меланхолично, обратившись к прошлому, которому был готов простить все. – Потому мне и нужна твоя помощь, парень, может быть, не твоя лично, но ты – единственный, кого я встретил, блуждая по этим горам. Там, за тропой, сегодня вечером я сооружу, как ты говоришь, возвышение из листьев и веток. А завтра придешь ты с большим факелом, с помощью которого разожжешь костер, и мы расстанемся навсегда. Идет?

– Не знаю, – ответил Филоктет неуверенно. – А почему ты сам не можешь этого сделать?

– У-ух... ну ты и упрямый, парень! Если я сделаю это сам, это очень не понравится Зевсу, который смотрит на нас сверху в ожидании моего появления. А ты знаешь, что бывает, если ему что-то не понравится?!

– Да, он посылает потоп и засуху, и убивает людей так же резво, как расселил их по всей Греции, – гордо продекламировал Филоктет, впервые безоговорочно поверив в услышанное где-то предание.

– Вот поэтому ты мне и поможешь. А если откажешься, рассержусь я. Но если сделаешь, я лично докажу значение твоего имени, – спокойно произнес Геракл.

– Как это? – спросил Филоктет, почувствовав зуд во всем теле.

– Имя твое, как я уже сказал, а я хорошо разбираюсь в этих делах, означает «любовь к обладанию». По твоей одежде я вижу, что у тебя не так уж много вещей, настоящих вещей. Если поможешь, я подарю тебе... – джинн не успел завершить фразу, как его оборвала сфокусированная в одной точке мысль Филоктета, невольно или намеренно отлитая в голос, мысль, прикованная к вещи, которую он увидел сегодня и которая всем своим сиянием доказала, что ради нее стоит пожертвовать многим.

– Лук и стрелы! – воскликнул юноша.

– Но ведь именно их... – впервые смутился страшный Геракл.

– Или ничего, – у сына Пеанта появилась запретная прежде и, пожалуй, впервые проснувшаяся уверенность, полуискренняя решимость человека, положение которого дает ему право ставить любые условия.

– Ладно... там, куда я отправляюсь, они мне все равно не понадобятся... – джинн согнулся в приступе.

Юноша пожал плечами. Чужак только кивнул головой.

Никогда еще в свои годы, которые до этого момента где-то в собственной глубине сохранило его тело (а минуло их шестнадцать, но они ему, как всякому мальчишке, казались необъятной поверхностью морской глади), никогда еще сын Пеанта не бежал домой так быстро, как в тот день.

## XI

Разговор с чужаком, встреча со страшным Гераклом развязали в его душе какой-то узелок, разожгли какой-то костер, наверное, точно такой же, какой он решил про себя, несмотря на отвратительный страх, разжечь завтра, на заре, для того, чтобы заполучить лук и стрелы. И

этот огонь не только заставил его ноги пуститься в еще более быстрый бег по неровной петляющей лесной тропе, но и разрушил ту крохотную, почти неощутимую грань между огромным желанием и реальной возможностью его осуществления. Все было именно так, как происходило с древнейших времен в мире взрослых, но только не в жизни детей.

Так Филоктет еще до заката успел добежать до сада, на краю которого, у подножия Фессалийского взгорья, расположилось его родное селение. За горами было море и начиналась Мелибея, а в центре ее находилась одноименная столица, которой селяне платили налог.

Мальчик резко остановился, потому что многочисленные костры вокруг селения и пронзительное бряцание, создававшее некую пелену шума, который в редкие минуты затишья эхом разносили по окрестностям воздушные потоки, заставили его трепещущее тело замереть. Чуть позже, вовсе не испуганный опасностью, нависшей над селением, но все еще очарованный и возбужденный встречей с чужаком, юноша продолжил медленным, внимательным и почти замирающим шагом приближаться к дому, пытаясь из шума собственного задышающегося организма вычленить другой шум, шум, производимый впавшими в истерику жителями, гонимыми манией либо невыразимым страхом. Не замеченный селянами, воздвигающими перед своими домишками валы из мешков с зерном и песком, словно в ожидании атаки вражеского войска, Филоктет пробрался к своему дому.

Пеант поспешно загонял ягнят в хижину. Для начала от отвесил Филоктету оплеуху, сопровождаемую на первый взгляд небрежным, а по существу паническим молчанием, которое как маленький остров вздымалось посреди шума и блеянья вокруг отцовской фигуры. Потом налетел вихрь Демонассиных ругательств.

В тот вечер, притаившись среди новых шерстистых обитателей их хижины, которых паника хозяина неожиданно перегнала сюда из недостаточно безопасной кошары, Филоктет составил из фраз, которыми походя обменивались мать, тетки и отец, мозаичную картину событий, рассказ о причине столпотворения, возникшего в среде мирного в прочие дни населения. Так имя владельца самого красивого и самого мощного в мире оружия, этого прекрасного лука, стрел и колчана, оружия, подобного которому не было нигде, оружия, которое запросто могло перейти в собственность Филоктета, если только он выполнит наказ его нынешнего хозяина, прозвучало в старой хижине семьи Пеанта. Геракл, собирал мальчик воедино картину из обрывочных разговоров, смешанных, как всегда со сказками и преданиями, из версий, которые домашние в горячке выдавали один другому, надеясь найти в самой правдивой, истинной истории спасение или, по крайней мере, оттянуть начало чего-то страшного, так вот, Геракл был широко известен своей силой и храбростью. Многие считали его божеством, в то время как другие, закосневшие в своей вере, полагали, что только после смерти этот великий человек сможет попасть на Олимп. В самом деле, подумал мальчик, незнакомец действительно выглядел очень сильным, несмотря на болезнь, в которой он застал его.

Этот джинн якобы опустошил многие города и несколько лесов, побив при этом людей чуть меньше, чем животных, и от этого живописания у юного охотника, зарывшегося в теплую шерсть живых еще овец, дыбом поднялись волосы на голове (при этом страх смешался со странноватой гордостью, вызванной личным знакомством с этим героем). Так вот, Геракл, говорят, совершал все это по приказу некоего царя, имя которого Филоктет не расслышал, и который обещал ему в награду нечто исключительно ценное. Юноша моментально провел параллель между тем героем, который совершил за награду нечто великое и ужасное, и самим собой. И необычная теплота согрела его душу.

Геракл, судя по рассказам, в которых первенствовала мать, в то время как тетки лишь дополняли ее, оказался на противоположном склоне Эты. Покорив Эхалию ради красавицы Иолы, он готовился принести в жертву Гере несколько буйволов. Чтобы свершить это, ночью, когда остатки покоренного и разрушенного города еще догорали, пугая и напоминая потрескиванием пламени оставшимся в живых, что террору никогда не будет ни конца, ни края, он

послал верного слугу в свой родной город за праздничным хитоном, который он имел обыкновение надевать во время жертвоприношения. И Филоктет вызвал из своих воспоминаний о прошедшем дне прекрасный белый хитон, вышитый тончайшими нитями, который, весь заблеваный, был надет на его товарище по уговору.

У этого самомученика, который, выкашливая себя, одновременно зазывал собственную смерть, близящийся грохот колесницы которой он, по его словам, уже слышал, была в его городе жена Деянира. Она, судя по домашним сплетням, уже свыклась с изменами Геракла, но Иола, видимо, стала той самой волной, которая захлестнула скалу терпения и прощения, так что она пропитала хитон особой жидкостью, которую добыла у некоего колдуна, чтобы с помощью ее магических свойств вернуть мужнину любовь. После чего положила хитон в сундук, сундук закрыла и отдала запыхавшемуся слуге, который, сменив коней, отправился назад, к господину. Это случилось два дня тому назад, сосчитал Филоктет. Вскоре после отъезда слуги Деянира заметила во дворе клочок шерсти, которым она смазывала хитон, заметила как раз в тот момент, когда солнечные лучи пролились на двор. Шерсть вспыхнула, а пыль под ней вскипела какой-то красноватой, пылающей субстанцией, напоминающей по консистенции мед, медленно вытекающий из опрокинутого улья. Ужаснувшись, она послала за слугой. Но от того остались лишь облако пыли и конские яблоки на дороге.

Говорят, именно прошлым утром Геракл надел свой парадный хитон и начал резать невинных быков, ухватывая сначала их по двое за рога и затем отламывая их, чтобы использовать мгновение, в которое ужасающая боль охватывала животных, и вонзить им в горло нож. Но не успело восходящее солнце озарить кровавый алтарь и помощника жертвователя, как человек почувствовал, что кожу на груди, руках и плечах нестерпимо жжет какой-то жестокий, неугасимый огонь. Он попытался, рассказывали они дальше, содрать хитон, но тут с него стала сползать сама кожа, а кости шипели на этом огне без дыма и пламени. И человек, отчаянно и грозно вопя, бросился бежать по горе. Вроде бы во время бега встретил какую-то нимфу, которой сказал: «Клянись головой Зевса, что отведешь меня на вершину этой горы и сожжешь меня там на костре из сосновых веток и смолы дикой маслины!»

Так начался рассказ, и, как Филоктет понял в более поздние, лемносские годы, начался прежде, чем разыгрался в действительности. Начался не так, неправдиво, казалось ему, не соответствуя истинным обстоятельствам, быстрее достигнув фессалийского селения, нежели настоящего действующего лица.

А все перепугались, что в предсмертных судорогах джинн доберется до селения и нападет на них. О чем-то подобном должен был думать и Пеант, который наверняка не поверил в байки, но он чрезвычайно взволновался, исключительно из практических соображений, испугавшись, что Геракл, если он вообще существует и если к тому же на самом деле агонизирует, действительно придет и нападет на них и на овец, тем более если все это происходит недалеко от их селения. Однако оказалось, что только этот закоренелый безбожник, его отец, укрывал овец с хлопотливостью настоящего хозяина, как он укрывал бы их и в случае дождя, града, грозы, без романтического вдохновения и без уверенности в том, что с Гераклом приключилась именно такая история, какой ее рассказали женщины. Он делал это только для того, чтобы не выглядеть в селении белой вороной. Другие, в особенности Демонасса, молились и вставляли на колени перед божествами, чтобы те смилостивились. Звучали даже голоса, требовавшие принести в жертву покровительнице Артемиде несколько откормленных голов.

Много лет спустя, когда морщины избородили его лоб в такой степени, словно одни только заботы и опасения составляли жизнь, и когда время отмерялось периодами от неудачи до несчастья, Филоктет научился благосклонно воспринимать бабьи рассказы, которые не только несут поучения будущим поколениям, но и таят в себе вопль, звучащий под немым и никем не разговоренным небом, вопль, призывающий найти смысл, определенность или взаи-

мосвязь между элементами неверного, трепещущего миража, который люди упрямо называют жизнью. (А разве религия для него не просто крик? И ничего более?)

На самом же деле юноша, спрятавшийся среди овец, дрожавших с такой силой, что с них сами по себе бежали блохи и клещи, составлял из сплетен мозаику жизни этого человека, принимая в себя балласт горького знания: все, что говорится в доме о событиях, происходящих вне его – чистый вымысел. Ложь, сшитая из ткани истины, но по выкройкам лжи.

Этот джинн, больной и будущий веритель светлого оружия в детских руках, если только он в самом деле был, как назвался, Гераклом, умирал в одиночестве, брошенный всеми, без помощи, без нимфы и без пылающего хитона на теле, умирал от болезни, которая, как он сам признал, всегда жила в его теле, а не от яда, колдуна и ревнивой жены... Умирал бессмысленно.

Именно тогда, когда все селение изготвилось к вероятному нападению сильного, больного, но все еще готового к бою существа, которое от страшной боли, разрывающей грудь, в мгновение ока могло уничтожить селение без всякого мало-мальски серьезного повода, кроме самой боли, которая, с другой стороны, вероятно, и есть окончательный смысл всякого существования, именно тогда юноша, прячущийся среди овец, шкура которых уже источала запах смерти, впервые осознал вероятность того, что всякая истина может быть соткана из лжи, текстура которой, похоже, более приемлема для разума, и что, скорее всего, сама ложь создана из ткани истины, которую разум по неким причинам часто отторгает. Уже тогда он был настолько чувствителен, перевозбужден, неотчетлив в чувствах, но по-юношески упрям и по-детски интуитивен, что в огромной мере ощущал отсутствие гармонии в привычном порядке вещей.

Избрал бы его Геракл, если бы над его головой не сиял ореол обособленности?

## ХII

«Я уснул», – подумал Филоктет в то мелкое, крошечное, почти неошутимое мгновение, когда с глаз спадает сладкая корочка обитания в каком-то ином, ушедшем вперед или назад времени, и воспрял ото сна.

Каждый раз, пробуждаясь, Филоктет сначала ощущал запах гноища, которому, как судьбе, следовало поклоняться каждое утро. Поэтому еще полусонный, не совсем пришедший в себя, он сразу возложил ладони на рану, которая пульсирует вот уже шесть лет, не согласуясь с общим телесным ритмом или с ударами сердца, которое управляет всем человеческим. И начал привычно и внимательно ощупывать озерцо раны на сухопутье правой ноги, заключая по ему одному известным признакам, как будет вести себя рана в течение дня, какие именно движения принесут ему жуткую боль, помешает ли это ходьбе, но потом бросил это бессмысленное занятие.

Вокруг него были заботливо расставлены сосуды с молоком. Козы вели себя спокойно. Поверхность молока была белой, и жир уже собирался корочкой, которая вскоре схватит все молоко. Филоктет взял два коромысла, и они напомнили ему о луке, который, укутанный в плотную дубленую кожу, он шесть лет тому назад закопал (вместе со стрелами и колчаном) под хижинкой, спрятав его от самого себя. Итак, он взял две изогнутые палки, на концах которых были вырезаны углубления для ручек посуды, после чего осторожно подцепил на них четыре сосуда.

Сосуды с молоком, налог Филоктета царю, были покрыты платками, и теперь не было нужды опасаться проникновения пыли в драгоценную жидкость. Как всегда при сборах в дальний путь к восточному берегу, Филоктета охватила боязнь, как бы, ковыляя по неровной дороге, не пролить молоко, не отдать его пыли, которой от напитка не будет ровным счетом никакой пользы, но все равно она жадно впитает его в свои поры. Притихшие, затаившиеся козы попытались, дергаясь всем телом, отправиться вслед за кормильцем, но веревки отбро-

силы их назад, сжав бородатые шеи, и они остались на месте, не кормленные, но доенные, в недоумении, не зная, что теперь поделаться с собой, куда деться.

Стрелец начал движение к берегу, движение, опоясанное сизой, а местами и коричневатой вуалью облачного лемносского неба, которое никак не хотело ни произнести хоть единственный звук, ни хоть что-нибудь дать. Ни морю, ни суше, ни тем более человеку на суше. Бывший полководец ковылял вниз по крутой тропе, и посуды ударяли его по спине. Это было не так страшно, просто, прежде чем шагнуть левой ногой, следовало совершить плечами движение посильнее, в противоположную сторону, и посуды били намного слабее, выдержать их удары было легко. А он знал, что если ты выдержишь что-то, то можно смело продолжить терпеть...

Дальше, вниз по тропе, вниз по жизни. Одиноким был этот путь Филоктета, одиноким, как и всякое путешествие по неброским пейзажам Греции, заполненное размышлениями о сути вещей, о тех отвратительных и неразрешимых вопросах, что задает сам небесный свод, не спрашивая при этом путника, желает ли он задаваться ими.

Все же, хотя все население дрожало от страха за свое добро и животных, от страха, который был связан не столько с раненым Гераклом и его злобой, сколько, образно говоря, с присутствием прославленного в мифах героя в непосредственной близости от обычных, ничуть не мифических людей, все же так ожидаемое нападение не случилось. Филоктет знал, что его и не могло быть. Тем не менее он лицемерно участвовал в общем психозе жителей, лишь бы не впасть в искушение и не признаться в уговоре, который он заключил с чужаком, не рассказать про его план и свое участие в нем, в результате исполнения которого он станет обладателем лучшего в мире подарка.

### ХIII

Ранним утром, прежде чем солнце собралось объявить розовым светом о наступлении своего царства, юноша осторожно вышел из кухни, шагая легко, чтобы не разбудить овец, которые так и спали, дрожа и стараясь спрятаться друг за друга, и пробрался мимо отца, заснувшего на посту. Миновав шанцы за восточной околицей селения, держась, чтобы не быть замеченным, ручья, с торбой, в которую спрятал пропитанные смолой тряпки, палки и несколько обломков кремня, Филоктет пробежал через открытое пространство, не услышав за спиной ни единого окрика. Он углубился лес.

Прошло совсем немного времени, потому что разгоряченные стопы, казалось, сами изгоняли из мышц усталость (как будто шаг левой ногой отвергал значение шага правой в этой виртуозной игре со временем, отделяющим всё нарастающее желание от момента получения драгоценного подарка), и юноша добрался до просеки в роще, где накануне обнаружил Геракла. На месте, где он оставил его, на небольшой поляне под Этой, возвышался огромный костер, намного больше того, на котором сожгли его деда, отца Пеанта; сложенный кое-как, он выглядел весьма внушительный по числу веток, собранных полумертвым человеческим существом.

Но Геракла и след простыл. Более того, нигде не было и обещанного им оружия. Юное горло перехватила судорога, но вскоре внимание юноши привлек кашель, раздававшийся в расселине, скрытой от любопытного взгляда кустами. Филоктет приблизился и увидел Геракла, который словно вознесся над собственной грудной клеткой и, казалось, вступил с ней в разговор. Однако это был не монолог, очевидный и связный, а, скорее, глухое бормотание, с которым он почти по-матерински обнял свою грудь, в которой, очевидно, извивался во всю свою убийственную inferнальную силу источник боли. Человек медленно, ничуть не удивляясь, повернулся к нему, продемонстрировав достойное бога телодвижение. А может, он уже и был богом?

– Ты принес огонь, мальчик? – с нарочитым равнодушием спросил он.

– Принес, – еще спокойнее отвечивал Филоктет.

– Огонь хорош, он очищает и в корне уничтожает грязь, оставляет золу и уносит гниль...

– Возможно. Начнем? – юноша произнес это не от нетерпения или маниакального желания поскорее сжечь человека, сколько из боязни продолжить разговор с тем, чье имя насмерть перепугало поселян.

– Огонь и тебе, юноша, принесет пользу, потому что после огня и моего исчезновения в нем ты утолишь свою страсть к обладанию.

Геракл поднялся и протянул руку к лицу перепуганного Филоктета. Конечности юноши задрожали, будто желая отряхнуть ногти с пальцев, когда Геракл правой ладонью нежно коснулся его маленького лба. Большой палец закрыл все лицо, от корня носа до подбородка. Было что-то теплое в этом прикосновении, и нежность прокатилась по телу Филоктета, дрожь, превратившая дыхание, не без намека на удушье, которое, продлившись некоторое время, обещало по окончании глоток более свежего, резкого, сладкого воздуха, нежели тот, которым он дышал перед этим.

Утро просыпалось над поляной, бросая с высоты, сквозь густые кроны, пестрые пятна света. Геракл отнял руку и заковылял к костру. Он долго взбирался наверх. Из кучи выпадали толстые ветки, время от времени деревянная конструкция проваливалась, и вокруг смертного строения повисла густая пыль от перепрелой коры и древесной трухи. Геракл лег на вершину куба из веток и кивнул. Филоктет молча ударил кремнем о камень и поджег пропитанную смолой тряпку. Факел затрепетал, извергая, казалось, больше дыма и гари, нежели света и огня.

«Имеет ли человек право определять срок своей смерти? Не следует ли принимать подобное решение другому, обитающему вне его существа?» – пронеслось в голове Филоктета. И только теперь юношу охватило сомнение в праведности их дела; уговор, по которому он должен был сжечь человека, вдруг показался ему отвратительным, и он готов был отказаться от него даже ценой утраты обещанного подарка.

Геракл крикнул. Его крик остудил взволнованного и уже готового отказаться от задуманного юношу, и уже в следующую секунду он понял причину, по которой действительно следовало помочь этому человеку окончить свое ограниченное болью существование. И разве не сама рука, лишь в незначительной мере подвигнутая разумом, а на самом деле ведомая невидимыми и неосязаемыми внутренними токами, бросила факел в самую сердцевину костра?

Огонь от фундамента загробного сооружения поднимался до самого его верха так, как распространяется дурная весть – зябко, неохотно, осторожно, но все же уверенно и неудержимо, пожирая перед собой все, в том числе и добрые вести. Огонь в какое-то мгновение затрещал громче, и Филоктет, забыв облик мирно возлежащего на ветках Геракла, отвел взгляд от впечатляющей картины громогласной смерти человеческого существа, его ухода в огонь и небо, и принялся искать оружие. Но вдруг его одолело сильнейшее чувство, может быть, даже бешенство, не столько от страха быть обманутым и не заполучить оружие, сколько от осознания себя как соучастника смерти, если даже не убийства живого существа.

– Куст омелы! – донесся из всеохватывающего пламени громогласный крик Геракла, и это были последние слова знаменитого героя. Последние несчастные слова.

Потом огонь охватил и проглотил его. Час спустя Филоктет, уверенно сжимая в окрепших руках лук и колчан со стрелами, иные из которых были длиннее его самого, смотрел, как пламя бешено раскаляет последние угольки, в которые превратилось давно уже мертвое тело Геракла.

Он не мог думать. Ум его был абсолютно пуст; ему казалось, что он и сам, по каким-то неизведанным причинам, бледнеет и исчезает, и только руки все сильнее и увереннее сжимали великолепное оружие. Пустоту и долгий несмолкающий стон прервал звук, раздавшийся за его спиной.

Это был крик Пеанта.

Попрятавшись за окрестными деревьями, появившиеся здесь неизвестно когда, мужчины из селения, предводительствуемые, похоже, его отцом, они, сохраняя глубокую тишину, осененную всеобщим изумлением, охваченные чем-то вроде глубокого ритуального психоза и тупостью, наблюдали развернувшуюся перед ними огненную картину. И своим молчанием они приняли Филоктета. Они видели все. И слышали все. И знали все. Они знали, что после всего увиденного (а о событиях вчерашнего дня они не знали, не знали о болезни Геракла, не знали об их уговоре) Геракл станет богом. А Филоктет – избранный. И потому они приняли его не как равного себе, но как старшего. Как отца селения.

Испугавшись, что отец, поймавший его за нехорошим делом, которым он не то что заняться – думать даже не смел, вырвет из его рук ненавистное еще с Крита оружие, юноша, стремясь избежать порки, воспрял и поднял тяжелый лук. Однако ничего не произошло. Филоктет, обессилев, опустил на землю свою «любовь к обладанию», как воин, сдающийся после изнурительного и бессмысленного боя, в котором он утратил все шансы на победу. Но люди принялись славить его.

Неожиданно Филоктет из юноши превратился в мужчину, затем стал славой и гордостью, человеком, который помог получеловеку стать полубогом. Так моментально был забыт страх, и отчаянные вопли, превратившиеся в мутное бельмо, ослепившее их предыдущей ночью в ожидании нападения Геракла, мгновенно превратились в торжественный гимн. Конечно же, никто бы не сумел поверить Филоктету (да и не старался бы сделать это), что Геракл был смертельно болен и что он покинул этот мир с его помощью, и что не было и в помине ничего похожего на сказки про отравленный хитон и тому подобные вещи. Поэтому молодой человек по прошествии двух дней навсегда отказался рассказывать правду о происшествии. И решил он на это не ради того, чтобы сохранить свою неожиданную славу, но потому, что в тот день он почувствовал себя глубоко оскорбленным, поняв, как радостно лгут люди, заводя речь о себе подобных.

Семья Пеанта уже переехала из хижины, юноша больше не прятался в лесном шалаше со своим самодельным оружием, теперь он был героем и вождем селения, владельцем самых ядовитых и самых опасных стрел греческого мира. И одновременно – хранителем тайны банальной смерти Геракла, тайны, которую он решил, назло суеверным, хранить вечно. И только Пеант сказал ему после происшедшего, когда его сын, его кровинка, его наследник выполнил приказ полубога и мифического героя, сказал ему только то, что мог сказать тот, кто, покаившись, навсегда отрекся от оружия (и вот на тебе, самый блистательный и совершенный в мире лук поселился в его доме!), а именно: «Стрелой закончится и твоя собственная жизнь. Закончится ее свистом, и ты сперва его не услышишь, а потом уже будет поздно».

С тех пор Пеант не произнес ни слова. В самом деле, теперь у него не было причин разговаривать под луком, повисшим у очага, прямо над деревянным столом, который он сколотил собственными руками сразу после возвращения из Магнесии, над столом, за которым он столько лет мирно обедал, наслаждаясь добродушным и влюбленным щебетанием птиц в окрестных ухоженных рощах. И в самом деле, он больше не мог найти повода для разговоров, поскольку вся его жизнь вывернулась наизнанку, превратилась в собственную противоположность, в собственный парадоксальный финал. Славу своего дома он счел проклятием сына, проклятием, которое, так уж случилось, распространилось и на это оружие. Что бы ни произнес после этого сын, любое слово так или иначе было связано с луком и стрелами, что противоречило воле отца никогда не произносить вслух имени оружия. А оно, как ни странно, стало первой любовницей сына, его первым чувственным искушением, называемым «любовью к обладанию».

## XIV

Хриса увидела, как стрелец, обрамленный со всех четырех сторон сосудами с молоком, поднимается по тропе, и замерла в кухонном окне дворца царя Актора. В который уже раз ее охватило тепло, чувство привязанности к хромому, ковыляющему телу Филоктета. Мужчины не очень-то интересовали ее, такую высокую, худую, с гибкой спиной, потому что против собственной воли она ощутила на своем лице слишком много задыхающихся мужских ртов и потных тел. Не слишком задумываясь о действиях, которые дали жизнь ей самой и ее матери, она чувствовала, что ей близок этот мужчина из иного мира, из Греции, где дикие совокупления наверняка случались редко, ей был близок этот урод, над которым смеялись все, презируя его высокопарные титулы и высокое происхождение в древней стране, издеваясь над его судьбой.

Ей была симпатична хромота, неумение совладать с естественным и каждому доступным человеческим действием, которое называется ходьбой, ей нравилась хромота, сросшаяся, казалось, с острыми чертами лица и почти гигантской (о да, по лемносским меркам действительно гигантской!) фигурой. Она смотрела на бороду Филоктета, протканную серебряными нитями, всегда расчесанную, хотя и жил он в хижине у моря и спал под одной крышей с козами, так непохожую на кудлатую бороду Актора, которую она каждое утро была вынуждена обихаживать, словно тот обитал в лесу – и Хрисе нравилась борода Филоктета. Понравилась еще в тот день, когда она впервые увидела доходягу и инвалида, потому что она вызывала в ней не желание, не подвигала ее к действиям (тем более телесным), но пробудила в ней давно желанное спокойствие.

Она не преминула моментально сравнить его с царем, с его щипками и хлопками по заднице, которыми наслаждался толстозадый тип, полагающий, что эта его штука должна входить в нее, как только и где только ему того захочется. Появление же стрельца, напротив, словно разъяснило ей, что такое мұка и как переносить ее, а его изборожденное морщинами лицо демонстрировало упорное желание жить.

Так она тайком смотрела на человека, который приближался к дворцу. Филоктет заметил силуэт Хрисы уголком взгляда, всего на мгновение обращенного к массивному и надежному зданию, возвышающемуся над восточным берегом острова. И тут же он, осмотрительный калека, опустил взгляд, и не из-за того, что не желал обращать внимания на существо женского пола, на служанку, которая с кислой улыбкой на губах, подрагивающих от волнения, прибинтовывала самоубийственный узелок с опилками, соструганными с ядовитого наконечника стрелы, к его ране, но потому, что площадка перед дворцом, за которым начинался сам город Лемнос, была наилучшим местом восточного берега, с которого он мог рассмотреть там, за широким поясом темно-зеленого цвета, рассмотреть горный массив над Троей, сушу, чаще укутанную туманом и испарениями, которые невольно хотелось принять за пожары, непрекращающиеся смертельные схватки и всеобщее разрушение.

Это интересовало Филоктета больше всего. Покорно снося удары сосудов с молоком, удары, которые после двухчасового путешествия оглушили бы и вола, снося их с щенячьей покорностью, с каковой он относился к жизни вообще, начиная с высадки на Тенедос, он не мог оторвать взгляд от троянского берега, который занимал его куда больше, чем силуэт Хрисы, и усилием воли заставлял себя не останавливаться, не бросать сосуды и не тарашиться на заморское поле боя, которое в ясных солнечных лучах лежало перед ним как на ладони.

Поэтому он отвел гневный взгляд от троянского берега и вновь обратил его на Хрису, к окну, но ее там уже не было. Прошуршала креповым черным платьем вдоль неровно отесанных стен царского дворца и исчезла не только из окна, но и из самой кухни, ухватив глиняные корчаги, и принялась переливать из них драгоценное царское вино в неважно выдубленные козы меха, чтобы передать те стрельцу, когда он будет возвращаться, чтобы тем самым еще

раз подчеркнуть невыразимую близость к нему, каковую она ощущала всеми нервными окончаниями своего тела.

Филоктет доковылял до парадных ворот, украшенных двумя змеями, сделанными из обожженной глины, смешанной с квасцами (а может, это была одна, но двуглавая змея, связанная в движениях общим телом, в то время как каждая голова стремилась проглотить другую). Стараюсь удержать контроль над почти произвольными движениями хромой ноги, стрелец не мог оторвать взгляд от земли, но тут, перед самыми воротами, его остановила упершаяся в грудь тяжелая дубина. Он остановился, понимая, с кем сейчас встретится. И в самом деле, прямо в лицо ему оскалился слуга Актора, телохранитель и стражник, один из беззубых братьев с яйцеголовыми черепами, что охраняли царя.

– Куда... полковонила? – обратился он к Филоктету, убежденный в собственном остроумии, равно как и в том, что слово «полководец» произносится именно так.

– Принося молоко, сыр, простоквашу и прочие скромные дары, которые козы способны были дать в это прекрасное утро, считаю долгом своим прежде всего посетить господина и предложить ему плоды, отнятые мною у природы с его высочайшего позволения, – пробормотал Филоктет совершенно спокойно, заученно, привычно, глуповато, как делал это каждое утро, и не глядя, не упираясь взглядом в лицо стражника, уверенный, что, задавая свой вопрос, тупица руководствовался скорее инстинктивной, нежели продуманной иронией, показывая тем самым, что он презирает и владыку, которого вынужден охранять, и свое положение в обществе; но заметил Филоктет и то, что прибегнуть к защите и покровительству этого человека означало, что человек более низкого положения, например, обычный пастух, который когда-то, говорят, был полководцем, будет стерт в порошок, принужден к унижению, к унижению, которое никто и никогда на этом острове не мог заметить во взгляде Филоктета, в то время как оно беспрерывно существовало в его страдающем теле, к унижению, которое охотник просто не мог ощущать, ведя непрерывный диалог со смертью и раной на ноге.

Филоктет зашагал, захромал во внутренние дворцовые покои, которые, по причине экономии, не освещались даже самыми темными ночами, кроме, естественно, тех, в которых ради царского комфорта совершались какие-то работы, или тех, в которых обитал сам царь, так что грека спеленал внезапный и для этого времени суток совершенно необъяснимый мрак, жирная и густая темнота, в которой он мог слышать, или только хотел услышать загадочное шуршание, прикосновение черного платья Хрисы к стенам. Сопровождаемый внимательным взглядом из темноты и, вполне может быть, что надуманным, шуршанием, он продолжил путь по лестнице слишком большого и, казалось, заброшенного дворца, продолжил хорошо знакомой дорогой, борясь с собственной больной ногой. При этом он крепко прижимал к плечам две длинные палки, на концах которых болтались сосуды, следя, чтобы молоко и простокваша, которые он нес на летнюю дворцовую кухню, не выплеснулись из них. Кухня в этом лишенном логики, архитектурно диком здании прилепилась к лестнице, ведущей в зал на втором этаже, из которого, опять же, можно было выйти на террасу, огороженную кривыми, сколоченными из досок перилами, на которой ежеутренне сиживал царь со свежевывчесанной бородой, тупо глядя в морскую пучину.

Когда стрелец приносил продукты, Хриса выходила из кухни, полагая, что таким образом никому не бросится в глаза их знакомство. Только в хижине, в которую никто не входил, начиная с того дня, когда смрад от раны Филоктета начал осваивать вокруг себя всё большее пространство, она могла оставаться наедине с ним сама собой. Но и в хижине она разговаривала мало, почти ничего не делала, разве только в физическом смысле. Но и физическая близость была совсем не такой, как близость со случайными насильниками, в прежние времена.

Перебрав все это в мыслях, стрелец пришел к выводу, что наверняка и в это утро она наблюдает за ним из какого-нибудь укрытия, и вошел в кухню.

## XV

Прошло совсем немного времени, и вялый зевок, напоминающий вздох подстреленной серны, крик, который врезался глубоко в память бывшего охотника, раздался в зале на втором этаже. Это было обычное приглашение Филоктету подняться на террасу, знак плохого настроения Актора, с помощью которого он как бы отмахивался от людей и человеческого общества, словно корова хвостом от надоедливых мух. Тем не менее, в этом дурном настроении ощущался окрашенный цинизмом постоянный интерес к стрельцу.

Филоктета ослепило яркое солнце незащищенной террасы, и ему потребовалось несколько мучительных мгновений, чтобы вначале привыкнуть к слепящей белизне, а потом и доковылять к перилам, у которых под полотняным тентом, с силой хлопающим на ветру и творящим какофонию звуков и трепетов, совсем как невеста или новорожденный в богатой семье ребенок, развалился Актор, потягивая охлажденную в подвалах простоквашу из козьего молока. Из молока, скорее всего, Филоктетовых коз, потому что он как никто другой – не спеша передавать прочим лемносским семьям неизвестное им искусство сквашивания и ферментации молока, искусству, которому обучил его Пеант в те редкие минуты, когда юноша обращал внимание на домашние дела, которыми занимался отец – как никто другой он умел делать простоквашу, которая на протяжении нескольких дней не теряла свежести.

Грек разместился на сиденье напротив царя, по давно установившемуся обычаю не дожидаясь согласия или особого приглашения. И вновь ему пришлось совершить целый ряд движений, необходимых для того, чтобы удобнее разместить ногу. Эти движения походили на ритуальный танец, которым он старался вызвать прежнюю гибкость и готовность тела. И вот грек, освободив раненую ногу от полы одежды, подставил ее солнцу, благотворному воздействию его лучей. Актор нервозно посмотрел ему в глаза, избегая глядеть на рану, после чего повернулся к морской пучине и очертаниям берега. Троянского берега.

– Странные вести опять приходят из Трои, мой воин. Или же всякая весть с поля боев странна сама по себе? Может быть, те вести собираются в некое чуждое тело? Или же с ними творится нечто иное? – пробормотал царь, прислушиваясь к благозвучию своих слов, которыми ему не удалось выразить ровным счетом ничего. Голос его напоминал бляенье, и тон его словно вспарывал воздух.

– Наверное, так, государь! Каждая весть с поля боя сама по себе необычна! Уже тем, что сумела добраться сюда! – ответил Филоктет, экономя слова.

– Осторожно разговариваешь. Как всегда. Иногда твоя осторожность заставляет меня думать, что я поступил неосторожно, оставив тебя в живых. А может быть, вести не интересуют тебя? – произнес Актор, не удовлетворившись скупым ответом.

– Интересуют, но не более чем здоровье коз, которых ты мне доверил, – Филоктет старался лгать, не вздрагивая. Потому что его интересовали вести из внешнего мира, и только они.

– Восточные стены временно пали, – продолжил Актор. – Штурмом греческого войска предводительствовал Паламед, который, говорят, был ранен в бедро. В связи с этим его обезглавленное войско не сумело прорваться в город, и стены были восстановлены. С другой стороны, рыбаки, которые возобновили добрые отношения с военными фуражирами на пляже и опять продают им тухлую рыбу по хорошей цене, рассказывают, что троянцы вчера запустили из катапульты несколько огненных шаров из смолы и сушеного навоза. Уничтожен, говорят, один греческий корабль, несколько соседних повреждено огнем. Я думаю, это корабли Аякса. Ты знаком с ним?

– Так вот что за туман спустился вчера на море?! – сухо отозвался Филоктет, ощутив, как вспотели его ладони.

– Значит, твое возвращение в Грецию теперь под вопросом. Не так ли, полководец?

Из Филоктета, словно из натянутого лука, вылетел старый воин, готовый защищать свой стяг, сколько бы ни возникло уважительных причин для сдачи в плен.

– Если возвращение вообще состоится, государь. Не знаю, есть ли вообще куда вернуться войску, которое шесть лет осаждает неприступную крепость? – ответил он после короткой паузы, моментально упрекнув себя за то, что опять защищает дело, в смысл которого уже давно утратил всякую веру.

– А ты упрям, полководец, – сказал Актор, только что решивший мучить его до конца. – Но я не уверен, что боги любят упрямых. Их одни только змеи обожают. Но ведь и это еще не все. Похоже, Гектор, или кто-то другой, сумел в жестоком поединке на ничьей земле убить Ахилла!

## XVI

«Ахилл!» Это имя эхом раздавалось во всем его существо, пока он медленно и с большей, чем прежде, осторожностью спускался из зала по лестнице, совсем как пьяница, который, отдавая отчет в своем грехе, возвращается домой. Только имя. Не столько весть о гибели бывшего соратника, сколько имя.

«Ахилл». Имя, которое так давно не произносилось, с давних пор не существующее в его окружении, часто присутствующее в его мыслях, но столько лет не произносимое. С того момента, как Филоктета в холодных и темных стенах дворца охватил странный озноб, он и думать забыл про Хрису, которая, по неписаному уговору, ждала его у подножия лестницы, не мог даже вслушаться в тишину, чтобы обнаружить звуки, свидетельствующие о ее присутствии. В нем звучало только одно: «Ахилл».

Как будто из всех пор тела, из всех его отверстий, во всех направлениях вырывалось одно только это имя. Разве не именно Ахилл предложил, может быть, потому, что, по странному стечению военных обстоятельств, Филоктет стал свидетелем самых гнусных преступлений героя, разве не Ахилл предложил оставить его на этом острове? Разве в минуты, когда никто не отваживался подойти к Филоктету из-за открытого гноя на ноге, не он потирал руки, рассчитывая перехватить командование над мелибейцами и на скорую руку обучить их искусству грабежа?

Конечно, он! Но в душе стрелца вопреки всему, вместо жалости и ликования, отверзлась какая-то расщелина, появился какой-то светлый след. В этот мигновение он приблизился к обычному укрытию Хрисы за шестой колонной и прошел мимо, не заметив ее. И только когда он направился к выходу, Хриса отважилась шагнуть за ним.

– Куда ты спешишь, Филоктет? – на одном дыхании вымолвила она, испугавшись, что мужчину заколдовали или, что еще хуже, его интерес к ней исчез.

– Прости, – отозвался он, не посмотрев в ее сторону, – кажется, я не заметил тебя.

– Хочешь, чтобы я тебе сейчас сказала, или дождешься до вечера, в хижине?

– Что, что скажешь, женщина? – нетерпеливо оборвал ее Филоктет, все еще захваченный внутренним монологом. – Если ты о смерти Ахилла... не старайся, я уже знаю.

Хриса поначалу закашлялась, потом, словно вдыхая воздух последний раз в жизни, прежде чем броситься в воду, уставилась в бороду Филоктета, потом в лицо, остановившись по каким-то причинам именно на них. И потом сказала:

– Да, и об этом я хотела тебе сказать. Но не только это. Я хотела тебе сказать, что боги устроили так, что всякая новая жизнь сопровождается смертью. Вот и теперь...

– Что «вот и теперь»? – он уже начал дергаться всем телом, навалившимся на неверную ногу, стремясь пнуть ее или причинить ей хоть какую-нибудь иную неприятность, потому что она съедала его время, пачкала мысли, так занятые Ахиллом.

– Ахилл умер, а ты... у тебя будет ребенок! – сказала она опять на одном дыхании, наверное, испугавшись, что слова исчезнут сами по себе.

Некоторое время длилось привыкание к тому, что в природе на самом деле возможно всё, всё может уместиться в один день. В одну фразу. Может, в две, произнесенные разными губами. Когда Хриса вновь глянула на него, с недоверием, но и с надеждой, впитывая каждое его движение и пытаясь понять, лицо Филарета свела судорога. Она глянула на него так, словно прощалась навсегда.

– Ребенок – сухо повторил он.

Потом ему показалось, что открытая рана на ноге, розовая прозрачная пленка, уже давно покрывавшая язву, переместилась на лицо. В мгновение, наступившее после минуты странного успокоения, он ощутил все свое существо будто сплошную рану. И после этого, теперь уже точно как зачарованный, захромал к выходу, забыв о присутствии женщины, принесшей ему весть, забыв ее так, как никогда бы не забыл своих коз – Конелию, Айолу, Испанию, Круду.

А она тихо, может, немного обидевшись, направилась за ним.

## 2 часть Беглец

*Достопочтенный демонический, ты, гигантский глаз, пожиратель сырого мяса. Не бойся: никого нет сильнее нас, никто не может причинить нам зла. Перед нашими окнами несет свои воды враждебный поток, но мы сидим здесь, в нашей стихии, и до сих пор нам везло. Я не так уж слаб, я не так уж бессилён, и я могу быть свободным. Я хочу успеха и приключений, я хочу научить ландшафт разумно мыслить, а небо – скорбеть. Понимаешь? И я нервничаю.*  
*(Петер Хандке «Медленное возвращение домой»)<sup>3</sup>*

### I

Это небо порозовело за несколько мгновений до того, как в нем проклюнется солнце, унося последние космы тумана, который и без этого, сам попрятался в дыры и пещеры, откуда он незваным явился наружу, в природу – на самом деле розовыми были облака, оповещавшие о неспешном появлении из соленой поверхности моря небольшого огненного шара. Розовые, чуть вспрыснутые лаком, может быть, несколько более глухого оттенка, скорее напоминавшего кровь, которую семнадцатилетнему Филоктету доводилось видеть очень часто. Молодой человек стоял почти нагой, измазанный красками, которые должны были вписать его в природу, позволив отчетливо выступившим венам и мышцам спокойно впитывать струящийся прохладный утренний воздух, превращая самоощущение тела в неопровержимое доказательство энергии, силы и непременно успешной охоты. Всю ночь он провел, напряженно скорчившись среди кустов омелы и зарослей примулы, мелкие, но опоясанные острыми иголочками цветы которых служили ему укрытием от насекомых и мелких животных, которые пытались кусать и грызть его, сидящего в засаде на корточках. Юноша вновь обвел взглядом долину, облитую утренним солнцем, пытаясь хотя бы по запаху определить, пробудилась ли жертва, собирается ли она выйти из расселины, куда забилась вчера, спасаясь бегством от человека. Потом он глянул на огромный лук Геракла, который с прошлой ночи не выпускал из рук, и на длинную стрелу, смазанную ядом, готовый притянуть жилы тетивы к правой половине груди и позволить им пощекотать правый сосок, отметив этим раздражителем готовность и внимание, сосредоточенность на трех всего лишь вещах: на стреле, тетиве и жертве перед ними.

Понадобилось целых три дня и только что прошедшая ночь, чтобы разобраться в путях скитаний этого крупного дикого козла, спина которого (он мог видеть ее в редкие мгновения, когда козел, чувствуя взгляд человека, но не понимая, откуда тот смотрит, чувствуя приближение смерти, вылетал из одного убежища в поисках другого), спина, следовательно, которого сияла здоровьем и лоском, предвещавшим богатую добычу.

Стопы охотника были ободраны на козих тропах, что переплетались вокруг Эты, его легкие вдыхали и выдыхали пыль, поднятую его бегом, глаза болели от резких движений, которые он совершал, чтобы еще и еще раз укрыться так, чтобы животное не обнаружило его присутствия. И даже его намерения. Потом, в середине вчерашнего дня, когда ветер задул к югу, от козла к охотнику, он остановился, чтобы приготовить мазь. Смешал мелкую пыль, как учил его старый охотник Мандор, с корнем примулы, растения, которое распространяет вокруг себя невыносимую вонь, от которой бегут все мелкие животные, глотая свежий воздух так, словно

---

<sup>3</sup> Перевод: М. Коренева (СПб, «Азбука», 2000).

это их последнее дыхание, и сделал смесь, которой, добавив еще немного птичьего помета, вымазал тело.

Так появление человеческого существа, обозначенное запахами источающих вонь веществ, перестало быть присущим представителю мира людей, превратившись в явление животного мира. Уничтожая собственный запах, осторожными и ловкими движениями изменяя способ человеческого передвижения и, напоследок, поперечными полосами меняя сам вид своего тела, ему было легче выследить козла. Таким образом он мог подкрасться к животному совсем близко, и в тот момент, когда он уже прицелился твердой рукой из своего ядовитого оружия, жертва успела юркнуть в расщелину, или в маленькое входное отверстие пещеры. Такое завершение дня обеспокоило юношу. Детская неуверенность вырвалась из него, словно камень из катапульты, и Филоктету понадобилось сделать несколько глубоких вздохов, полных разочарования, но одновременно и облегчения, достаточных, чтобы простить себе, казалось бы, верный выстрел, обернувшийся промахом. После этого он, мгновенно предоставив юношеской неуверенности вступить в схватку, столкнуться с искусным мастерством охотника, начал судорожно искать, где же была допущена ошибка.

Это был колчан. Юноша не вымазал смесью только колчан со стрелами, из уважения к великолепию этого творения искуснейших рук ремесленника, созданного из кожи молодого, скорее всего, еще не оскопленного быка, в тот момент, когда кровожадные руки сдирали ее с тела, от которого еще исходил пар жизни. Только колчан сохранял человеческий дух, что так обеспокоило козла. Может, он сохранил запах рук человека, касавшихся бычьей шкуры, а может, и самого Геракла, который за все эти годы наверняка сроднился с ним.

Недовольный охотник, не прекращая укорять себя, цокнул языком и отправился на поиски укрытия и засады, из которой он мог наблюдать за входом в пещеру, оставаясь при этом незамеченным. Он лихорадочно молил Артемиду, чтобы у пещеры не оказалось второго выхода, через который животное могло бы уйти. Всю ночь, не прекращая, он вспоминал то мгновение, когда увидел мордочку козла и его крупные глаза. Во время бега, прыжков из укрытия в укрытие, он сумел рассмотреть его морду, исцарапанную колючим кустарником, задетым на бегу, видел, как бешено, словно плавающие в масле, вращались зеницы его глаз в безумном ритме пляски бегства. В том единственном взгляде, которым козел вроде бы нехотя одарил Филоктета, был страх. Страх смерти.

Возможно, тогда, в те годы, Филоктет гораздо острее смерти чувствовал ее запах, хотя еще и не умел его определять, понимать и проверять. Может быть, просто каждая жертва за несколько часов до того, как страшный удар прикует ее к земле и отнимет жизнь, сама излучала понятный только юноше, только его уму постижимый запах исчезновения. Этот аромат юноша ни в коем случае не воспринимал как смрад гниения, который начинал распространяться вокруг животного после того, как последняя капля жизни покидала его тело. Нет, этот запах кала не вызывал у него отвращения, животное, еще несколько минут тому назад сиявшее жизнью, защищало им свой собственный труп. Напротив, излучение страха смерти было, по его ощущениям, каким-то более резким, настойчивым, более точным, и по ценности своей для охотника не уступало запаху животного. Животный страх смерти для него всегда был усиливающимся запахом жизни.

Возможно, запах весны, пробуждения, со слегка приглушенным оптимизмом, эдакий тяжелый и полный благоухания цветов, клочкотания воды и покоя болот. Одновременно наполненный началом работы природы и гниения предыдущих, зимних форм жизни. Так Филоктет, принохиваясь, принимая в себя тяжкий и обязывающий аромат страха смерти, чувствовал, как грудь его наполняется, как солнце всё теплеющими лучами обливает тело, и ноги его становятся все легче. И он любил этот аромат. И более того.

Возможно, впоследствии, после абстрактного восхищения великолепным оружием, восхищения скорее средством, нежели целью охоты, оно ослабло, как в его чувствах, так и в холод-

ных размышлениях, и место восторга занял сам предмет охоты. Зверь. Во всем своем разрушительном великолепии. Таким образом юноша, наверное, только что спровоцированный чужим страхом смерти, впитал еще один, новый вид энергии, связанный с процессом охоты. И потому, наряду со многими прежними идеалами, Артемида стала его новым божеством.

В таком напряжении, из-за невыносимой концентрации, могло стать, что внимание юноши падёт жертвой жестокости, и он, сосредоточившись на себе как на охотнике и забыв про добычу, пропустит какой-нибудь совсем неприметный знак, свидетельствующий о том, что козел вышел из укрытия. Но тут его окаменевшая грудь внезапно вздрогнула, сердце – то ли из-за усталости и бессонной ночи, то ли из-за возбуждения – заколотилось сильнее. Сам охотник оставался спокоен. Он находился в самом центре невидимой сети, связывающей его с жертвой, которая почти неощутимым, капиллярным трепетом давала ему знать, что добыча вызывает его на последнюю схватку. Юноша вознес хвалу владычице и напряг все тело, изготовившись к прыжку.

Над его головой пронесся шорох сухих веток, укрывавших вход в пещеру, раздался какой-то треск из долины, напоминавшей своими пологими склонами амфитеатр, и только потом появилась морда. Вспыхнули безумием козлиные глаза. В них больше не было страха смерти. Минувшая ночь своим страхом свела добычу с ума. Итак, сначала появилась морда, с которой капала пена, после чего юноша мгновенно увидел, как жилы на козлиной шее натягиваются со страшным напряжением, едва не лопааясь, и быстро, в мгновение ока проанализировав это, охотник понял, что жертва сейчас втягивает воздух, после чего резко подскочит, взвоет из отверстия пещеры, раздвигая телом кусты, что могли бы послужить ему хорошим укрытием. И только потом ноздрей юноши достиг запах. Запах драматического, молниеносного разложения животного, запах уничтожения, но и моментального обновления всех клеток, пор, частичек козлиного тела. Как будто животное, почувствовав конец, превратилась в машину непрерывного отмирания и мгновенного возрождения.

Филоктет переменял исходное положение, крепко сжал левой рукой лук, укрепил на нем стрелу, придерживая ее средним и безымянным пальцем той же руки, так, как его учил Мандор, потом перенес лук вертикально к груди, точно по вертикальной линии между сосками. Правую руку перенес к толстой и жилистой тетиве лука, ухватившись за нее пальцами.

Потом, позволив себе для успокоения некоторое время, выигранное быстротой всех предыдущих движений, правой рукой легко натянул тетиву, позволив ей коснуться правого соска и тем самым ограничив ее напряжение. Сконцентрировался на острие стрелы, оказавшееся прямо перед его глазом. С большим трудом, с полным напряжением мышц удерживая равновесие между левой рукой с луком в ней и правой рукой, зажавшей тетиву, юноша нацелил верхушку стрелы так, что все прочие детали пейзажа, не совмещавшиеся с ней, тонули в мутномолочном слепом пятне. Прищурился оба глаза, он затаил дыхание между точно выверенным вдохом и выдохом, и, не меняя избранной позы, переместил тело влево, соблюдая установившееся между всеми его членами равновесие. Потом повернулся в том направлении, которое, вне всякого сомнения, должен был избрать и козел.

Спокойно отпустил правую руку, выпрямив пальцы, которые судорожно сжимали тетиву, и почувствовал удовлетворение, когда шумы в каждый миг своего краткого существования принялись нанизываться один на другой, каждый своим голосом рассказывая собственную историю.

Сначала последовал тупой и сильный удар середины тетивы об основание лука. Потом вокруг ладони юноши, деформировавшейся от силы, которую ей пришлось обуздывать, образовался целый фонтан крошечных капелек жира, которым была смазана тетива ради сохранения эластичности. Далее, словно на арфе или цитре, был сыгран насильственный такт, затем послышалось гудение всех переплетенных жилок, образующих тетиву, которые были выпущены на свободу так, что на своем дальнейшем пути, а еще больше после избавления от опе-

ренного комля стрелы, они сталкивались и ударялись одна о другую. Теперь последовал скрип деревянного тела стрелы по кожаным ремешкам, обматывающим дугу лука. В это мгновение левая рука юноши, полностью освободившись от навязанного ей сопротивления материала, стала отдаляться от тела. Ладонь задрожала, и потребовалось легкое движение сустава в противоположную сторону, чтобы оружие осталось в руках. Этот звук напоминал треск расколотого пополам бревна, удар молнии в одинокое дерево на холме. Резкий, долгий, угрожающий звук распада материи. Звучное самоуничтожение. И, наконец, любимый звук Филоктета – свист.

Охотник почувствовал, что в момент возникновения свиста, начала разрушения сгустившегося воздуха гибким телом стрелы, он сам покидает собственное тело и превращается в стрелу, в которой сосредоточилась вся его духовная и физическая энергия. А стрела, этот заостренный кусочек железа, заботливо насаженный на прочный и многочисленными мазями пропитанный прут, рассекала перед собой воздух, грозя нанести ему незаживающую рану. Это рассечение пространства между палачом и жертвой длилось слишком долго, и охотнику казалось, что полет стрелы не завершится никогда, что конца ему не будет. Юноша зажмурился, втянул струю воздуха, что ласкала его лицо; складка на правой щеке, образованная прижатой в момент выстрела тетивой, постепенно расправлялась, возвращая кожу в прежнее состояние. В это время свист из неопределенного «шшшшшшш» превратился в куда более резкое, гибкое, тонкое «сссссс», давая знать замершему на мгновение охотнику, ожидающему результата своих расчетливых действий, готовому принять и попадание и промах, что скоро вся охота, сконцентрировавшаяся теперь в одном полете, завершится.

Словно что-то заколотили. Как будто удар молотком по наковальне. Обыкновенное «бац». Филоктет открыл глаза. И в это мгновение магия ритуала внезапно оборвалась, достигнув апогея. Наверное, козел, решил Филоктет, по колебанию воздушной волны учуял приближение стрелы, тем самым на какую-то долю ослабив смертоносную силу, посланную в него охотником. В последний миг он слегка дернулся вправо (охотник предугадал это), после чего сам напоролся на оловянный наконечник стрелы. Поэтому удар пришелся в грудь, а не в середину шеи, как ему предназначалось. Однако стрела не прекратила движения. Мясо для нее не было серьезным препятствием, и она продолжила путь сквозь тело жертвы, пронзив его насквозь, и вышла за лопаткой, где, наконец, остановилась.

Козел, конечно, боли не почувствовал. Хотя, благодаря ядовитой мази, нанесенной еще Гераклом на наконечники двухметровых стрел, смерть началась. Животное рухнуло. Оно, как всегда при воздействии яда Геракла, стало мертвым до падения на землю. Так что труп, в котором еще в падении гасли последние искорки жизни, ударился о землю с треском, эхом разлетевшимся по всему амфитеатру долины. Он окоченел, замороженный ядом. Наверное, окаменел в смерти. И, может быть, именно поэтому убийство стрелами Геракла выглядело как крайне полезная в гигиеническом отношении деятельность.

Охотник выскочил из укрытия. По его телу бродила некая, все еще не понятая им энергия, энергия, которую невозможно было охватить и поместить в самоощущение тела. Затем он с легкостью проскочил десяток метров, отделяющий его от добычи, едва ли не подпрыгивая от расправившей его силы, перепрыгнул через опасные корни и густой кустарник, преграждавший ему путь. Добравшись до мертвого животного, он остановил сначала бег, потом дыхание, чтобы всю силу и энергию претворить в глубокое сосредоточение и почти ритуальное преклонение перед мертвым козлом. Он приблизился к нему. И только тут почувствовал иной запах, не присущий животному, запах ничуть не привлекательный, дух гниения и исчезновения. Дух, следующий после смерти.

Гибкими пальцами он ухватил стрелу за оперение и потянул ее назад. Стрела медленно, сопротивляясь прилагаемым усилиям, подалась, разрывая в движении мясо добычи. Филоктет всегда выдирал ее именно так, зная, что если проталкивать ее вперед, то его ладони может поранить отравленный наконечник. Именно по этой причине тот был гладким, без зазубрин,

так как мастер, делавший стрелы, знал, что яд будет очень сильным и стойким, и потому не следовало опасаться, что стрела не останется в теле. Другими словами, если бы неловкий охотник промахнулся и лишь оцарапал добычу гладким острием, жертва все равно бы рухнула на землю. Поэтому Филоктет осторожно и внимательно вытащил стрелу из тела, протерев потом только древко стрелы. Наконечник он не вытирал никогда, чтобы не подвергать себя опасности.

Вернув стрелу в колчан и посвятив куда больше внимания оружию, нежели добыче, Филоктет вздохнул. И только после этого глянул на мертвого козла. Морда его была полуоткрыта, зубы лежали на отвисшей нижней губе, а из раны поднималась на первый взгляд необычная, но привычная для Филоктетовой охоты, струйка пара. Это испарялся яд, освоивший последние территории безжизненного тела. И после этого, оставаясь верным своим обычаям, охотник обмакнул обе ладони в козлиную кровь и дико крикнул в пространство над головой, словно желая через узкую горловую щель выплеснуть энергию, волны которой захлестнули его тело в то мгновение, когда стрела нашла свою цель. Этот пронзительный и в то же время несколько обиженный, печальный вопль вырывался из глубин существа, крик, который во всей его дикости должны были услышать в ближайших селах Магнесии. Охотник воздел руки над телом жертвы, слившись на мгновение с окровавленным мясом в странном и только его чувствам известном хороводе, в котором только что приняла участие и стрела.

Так они и замерли неподвижно, связанные криком, искажившим лицо юноши – охотник, жертва и оружие.

Потом он размазал козлиную кровь по лицу, стараясь не касаться растопыренными пальцами глаз и губ. Потому что малейшее соприкосновение отравленной крови со слизистой стало бы губительным для стрельца. Вымазанный ярко-красными полосами свернувшейся крови, юноша резким движением поднял козла с земли и забросил на плечи. После чего направился в село.

С бессмысленной добычей на плечах. Потому что добыча, сраженная стрелами Геракла, становилась несъедобной и навсегда отравленной.

## II

Уже послышалось шуршание лемноских змей, выползающих из своих нор, чтобы уловить подходящую минутку между двумя порывами ветра, поднимавшего с земли красноватую пыль, минутку, когда над островом из ниоткуда рождалось солнце, скрытое до той поры многочисленными, низко сидящими мутными облаками. Это же солнце выманило из хижины и Филоктета с Велханом.

С первым шуршанием, которое объявляло начало нового дня, и с резким посвистом раздвоенных змеиных язычков, что шарили по кустам, вокруг шалаша образовался кусочек семейного покоя и тишины, на котором маленький Велхан нашел местечко для игр. Филоктет отковылял в центр небольшой площадки перед домом и заботливо своими сильными руками, на пальцах которых красовались кровавые, короткие и глубокие, неприятные на вид царапины (последствие утреннего сбора плодов и ягод для коз), загнал в землю несколько кольев. Потом натянул на них полотно, похожее на то, которым пользовался царь Актор на своей террасе, чтобы защитить ребенка от солнца и порывов ветра. Занявшись этим делом, бывший полководец быстро устал, не от потери сил, затраченных на работу, но от расхода энергии на передвижение и необходимость стоять на ногах, и присел на белый камень, который однажды (он никак не мог вспомнить, когда и как) очутился во дворе. И Велхан, загребая левой, здоровой ногой землю, совсем как отец, быстро перекинул большую правую через порог.

Ребенок сам, без отцовской помощи, палки и любого другого предмета, добрался до затененной части двора и вопросительно глянул на отца. Филоктет, как и все три года до этого, первым делом осмотрел его рану.

Розоватая корочка и этой весной начала постепенно крошиться и истончаться, и уже при дневном свете можно было рассмотреть переплетение нескольких струек телесной жидкости внутри раны. Естественно, каждой весной нога начинала болеть сильнее, но маленький Велхан в свои ничтожные годы уже понимал, что с этим ничего не поделаешь. К тому же, отцовская нога и выглядела, и смердела точно так же, и отец передвигался точно так же, и это его ничуть не сердило. Так что Хриса и Филоктет очень быстро стали свидетелями того, что их ребенок плакал все реже и все реже просыпался посреди ночи, а с годами все реже пытался неловкими ручонками выдавить из раны то нечто, что постоянно чесалось и раздражало его.

Ознакомившись с состоянием гноя на правой ноге ребенка, прямо под коленкой, на том же месте, на котором уже девять лет зияла его рана, Филоктет чистой тряпочкой обмотал ножку Велхана и затянул узел. Теперь сын был готов к игре, и отец бросил на землю под полотняным кровом несколько хвостов гремучих змей, которые, оторванные от змеиных тел и высушенные, представляли собою настоящие погремушки.

Велхан, ковыляя, направился к маленькой площадке для игр, где он будет пинать погремушки, заставляя их звучать, как он делал каждое утро, вызывая матерю Айолу из загончика и приглашая ее присоединиться к игре. И в самом деле, вскоре затряслась белесая козья борода, и Айола присоединилась к мальчику.

Оставив ребенка с самой старой и самой полезной козой, Филоктет направился к хижине, где Хриса в большой глиняной корчаге створаживала остатки молока и готовила для царя ведерки с другими молочными лакомствами. Филоктета вновь ожидал путь к царскому двору. С котлами на плечах.

Женщина обратила взгляд к трещине в глинобитной стене, которой она пользовалась для наблюдения за ребенком. И перед ней возникли отец и сын. И коза. Картина, естественно, очень хорошо знакомая и включающая также ее личное существование, которое она неразрывно связывала со своей принадлежностью к этой картине. Тем не менее, как это бывает в утренние часы, когда сознание после немного сна возвращается к изначальным понятиям, выстраивая из отдельных эпизодов, которые предстоит вновь оценить и определить их значимость, целостную картину, Хриса тяжело вздохнула, увидев два хорошо ей знакомых существа мужского пола, принадлежащие ее семье, существа, хромающие с утра до вечера.

Филоктет вошел в хижину, сшибая, как всегда, куски глины с косяка, что каждый раз происходило в результате потери равновесия, вызванной необходимостью преодолеть препятствие в виде порога. Их взгляды встретились. Он ласково попросил жену приготовить коромысло, заменившее похожий деревянный предмет – лук. Хриса нацепила две посуды, в которых уже лежали приготовленный сыр и свежая простокваша. В белизне, которая охватила ее, в белизне сосуда, наполненного густой простоквашей, она попыталась хоть на секунду утопить свой взгляд, чтобы на мгновение слиться со слепящей белизной, чтобы отдохнуть. От немного вздоха, который вырвался у нее при взгляде на маленького Велхана, играющего с отцом.

Вынашивая его, Хриса совсем не ощущала тяжести, и только изредка, мучительными ночами, перед самыми родами, когда ее охватывал панический страх от ничем не спровоцированной мысли о возможности потерять плод, возникало предчувствие, что все-таки что-то будет не так. Тем не менее, она была опытной роженицей, а Филоктет внимателен, хотя немножко смущен и неловок, то есть был совсем не таким, как ее бывшие мужчины, отцы двух девочек, которых она родила в молодости. Для начала ей, как женщине, которая из-за своей неблагодарной должности старшей служанки принадлежала всем и никому – и царю, и стражникам, и кабатчикам – этого вполне хватало. Если бы Хриса когда-нибудь задумалась над тем, как должно выглядеть сосуществование мужчины и женщины (а такого она никогда в жизни не видела, будучи сама внебрачным ребенком главной дворцовой кухарки), то представляла бы себе этот союз именно так. Как их союз.

Конечно, за страстное желание соединиться с чужаком, греком, от которого отrekliсь его товарищи по походу на Троию, пришлось заплатить. И тем не менее, она никогда не испытывала такой храбрости, когда решила последовать за пастухом в его хижину. Все произошло само собой, молча и с презрением, по-лемноски. Она знала все, что последует далее по неписаным законам Лемноса, которые растопчут ее насмерть. Для начала она навсегда потеряла дочерей, тех самых двух замарашек, которых Филоктет увидел, впервые встретившись с Хрисой там, на пастбище, за кустами. Вообще-то она могла принимать их в своем новом доме, но они, с тех пор, как их взял под опеку Актор, не желали навещать свою мать. Они росли, превращались в девушек, обходя стороной хижину раненого грека, как, впрочем, поступали и прочие обитатели этого плевка суши, называемого островом. Далее, ей строго-настрого запретили появляться во дворце, а также приближаться к нему, к главному поселку и рынкам, после чего последовал запрет вообще появляться там, где обитают люди. И охотнику в связи с его поступком также были объявлены запреты: молочные продукты теперь можно было лишь подносить к дворцу, в результате чего он лишился права посещать царскую террасу и вглядываться с нее в троянский берег, отделенный от него всего лишь зеленоватой полосой холодного и глубокого пролива и разоренный войной, полыхающей на противоположной полоске суши.

Так что Хриса вынашивала плод в тишине, скорее вынужденной, нежели добровольной, скрывая удовольствие от того, что начала делить жизнь с человеком необыкновенно смиренным и мудрым. Хижина и чужак, его жена и козы теперь были изолированы еще больше, чем прежде. По правде говоря, никто особенно и не противился этому браку. Все мужчины, которые того желали, уже опробовали своими членами внутренности Хрисы, потому как она никогда не смела противиться, и, с другой стороны, каждый, кто того желал, унизил или оскорбил охотника (камнем, плевком, подножкой). Так что никто никому ничего не был должен.

Хрисе не мешал смрад, насквозь пропитавший хижину, огород, загон и пастбище над морем, смрад, который не в силах был разогнать ветер, смрад, который стал неразрывной частью каждого дня жизни этого уголка. Так посреди острова, опоясанного морем и населенного змеями и ветром, в самом его центре вырос новый остров, остров в острове, омываемый смрадом раны и населенный козами и их бляением. И только беззубый дебил Фимах, которому также было запрещено помогать чужаку с козами и чистить котлы, осмеливался посещать изолированное стойбище, причем в первый раз он сделал это, когда Хриса рожала, подменив грека, который, обливаясь потом и слезами, стонал в углу хижины, страдая от страха и беспомощности.

Филоктета тоже не очень заботило здоровье плода, пока Велхан толкался ножками в материнской утробе. Он просто ожидал появления некоего ребенка, странного, неожиданного, абстрактного, а мать держалась нормально, была счастлива и довольна тем, что носила под сердцем дитя от высокого и красивого мужчины, успокоенная тем, что они определенно не состояли в родстве (а на Лемносе невозможно было утверждать такое в отношении любого мужчины), так что ребенок должен был появиться здоровым.

Случилось это за несколько дней до родов, когда чужак и женщина почувляли смрад, который в этот раз источала не только правая мученица охотника, но и промежность его жены. Это показалось совершенно неожиданным, потому что оба за несколько лет изгнания Филоктета настолько привыкли к странностям, которыми была обставлена его ссылка, что ничего нового они уже не могли придумать. Ведь до сих пор жизнь протекала в тишине и порядке, правда, навязанном, причем в большей степени людскими стараниями, нежели естественным течением событий. И разве не сама Хриса, как самая обыкновенная женщина, не пожелала ребенка, и если он будет мальчиком, то назвать его Ахиллом, как приятеля ее мужа, а что еще важнее – единственным греческим именем, которое она знала, кроме имени мужа?

Филоктет, разумеется, это ее предложение, нахмурясь, отверг, но, когда смрад от его язвы на ноге распространился на промежность женщины, весьма озаботился. И в ту ночь, когда у

него, обезумевшего от воплей жены (поскольку ее крики напомнили ему о воплях на полях сражений, от которых он едва не сошел с ума), родился сын, казалось, что оба они провалились туда, откуда нет возврата. Как корабль, который из-за землетрясения или бури провалился в песок, хотя до этого десятилетиями мирно покоился на самом дне океана. Перед его глазами зашевелилась кучка окровавленного мяса, скомканная и вспухшая, с малюсеньким, но тем не менее заметным отверстием на правой ноге, ранкой, которая так страшно походила на язву стрельца.

Ребенок, скорее всего, плакал не от судорог и не от шока, вызванного встречей с сущим миром, но от невыносимых болей в ноге. И тогда у Филоктета, в тот момент отчаянья, в момент прилива ядовитой черной желчи, в момент прилива, которого он физически, материально не ожидал (по крайней мере, уже в те годы, когда он окончательно превратился в колченогий скелет бывшего охотника и полководца), и тогда в голове его пронеслось одно единственное греческое слово: «ПРОКЛЯТИЕ».

Никто не мог объяснить, понять, даже используя весь к тому времени накопленный человеческим опытом в области анатомии и медицины, появление раны на ноге ребенка. Рассуждали на тему укуса змеи. Или какого-нибудь иного существа во время беременности Хрисы (если бы он сам не присутствовал при родах, то мог бы поверить в то, что змея укусила самого младенца), обсудили также возможность проникновения яда в ребенка посредством семени Филоктета. Но окончательный вывод никто не осмеливался сделать. Следовали ночи горячечных диалогов, словесных поносов на греческом и местном диалекте между женой и мужем, которые, несмотря на то, что Филоктет овладел неизвестным ему языком и что Хриса научилась автоматически, не вникая в смысл, использовать греческие слова, не приводили к взаимопониманию.

Так что чужак, пребывающий на острове уже седьмой год, начал приспосабливать лекарства и мази, которыми пытался вылечить себя, к ране на ноге ребенка, этой судьбоносной язве, которая мешала мальчику научиться первым шагам, и та стала потихоньку затягиваться. О полном выздоровлении, естественно, не могло быть и речи. Но, по крайней мере, как и в его случае, рана перестала разрастаться.

О единственном действенном лекарстве, применение которого сначала просто казалось попыткой самоубийства, ставшем, однако, единственным целительным бальзамом, о яде с наконечника одной из Геракловых стрел и речи не могло быть. Слабенькое тельце Велхана, даже если оно вместе с раной переняло у отца и могучее сопротивление организма, наверняка не смогло бы одолеть воздействие яда, который, едва царапнув самого мощного быка, отправлял того на немедленную и верную смерть. И только Фимах, несколько раз тщательно осмотрев ребенка, смог поставить верный диагноз.

– Никто с уверенностью не может утверждать, по какой причине эта разъятая рана, наполненная кровью, угнездилась на ноге твоего сына. Но я уверен – и ветры тому порукой! – что рана эта расти не будет, но и не исцелится, удерживая твоего сына в пространстве между смертью и жизнью, в пространстве, в котором и сам ты остался навеки. Но это если повезет. Ежели счастья не будет, в прекрасный момент судьба его может бросить в пасть смерти!

А на следующее утро Филоктет отворил сундук, в котором, завернутый в прочное полотно, вымазанный глиной, сохраняющей первоначальный облик, лежал лук Геракла и колчан со стрелами. Оружие, которое он семь лет не только не видел, но и не держал в руках, на мгновение ослепило его. Он прятал его так, как скрывают от самого себя копящиеся годами страсти, некогда приводившие к самому краю пропасти, как прячут их так, чтобы их невозможно было вспомнить, но, тем не менее, чтобы их буйство всегда было под проклятой рукой. И он ощутил ту же страсть, что и в момент первой встречи с этим оружием. Сначала ему захотелось долго сжимать его в руках, но он решительно отбросил лук на земляной пол. Оружие Геракла отозвалось, подтвердив собственным звучанием превосходство над прочими предме-

тами. Потом, стараясь не порезаться, потому что толика страха осталась и после целебной встречи яда с Филоктетовой плотью, он обстругал верхушку наконечника и завернул опилки в мягкие тряпочки. Чтобы сделать лекарство. После чего опять завернул оружие и спрятал его в сундук. «Ребенок – звучали в его голове слова Фимаха – находится между жизнью и смертью». Потому он и назвал его «Велхан» – «волочащий ногу».

Вооружившись коромыслом, на концах которого повисли котлы, ударяя его по бедрам и животу, мужчина направился к дворцу, где стражник, исполняющий свою должность без малейшей надежды (или хотя бы мечты) на повышение, опять назовет его «полководилой», стражник на острове, где нет никакой нужды в войске. И глаз меткого стрелка бросил три взгляда – первый на Велхана, второй на Хрису, и третий – на троянский берег, где сквозь извечный туман он надеялся рассмотреть следы сражений и разорения, а может быть, и ответ на извечный вопрос: «Пала ли Троя?» На этот раз он сэкономил три своих взгляда, приберегая их к следующему походу.

### III

Пеант не произнес больше ни слова. В его душе смешивались бешенство и боязнь – в диапазоне от галопирующей судьбы, которая, как был уверен аргонавт, не принесет ничего хорошего сыну, который вновь принес в его дом оружие, до примитивно человеческого, естественного для его лет нежелания никаких перемен, никаких новостей, которые врываются в жизнь, рисуя лживую картину изменения качества жизни, избежавшей привычного своего течения. Демонасса не принимала перемен, происходивших в муже, равно как и причины, их вызвавшие, но сама невольно сделалась более скупой на слова, особенно обращенные к сыну, исходя при этом из некоего, казалось, неопределенного уважения, которое стала испытывать к нему. Таким образом их дом, ранее знаменитый на всю округу отличным молоком и прекрасной бараниной, превратился в маленький храм Артемиды, где время от времени собирались охотники, которых становилось все больше и больше после того, как Филоктет овладел волшебным оружием. Сюда постоянно кто-то заглядывал, груда оружия у входа всё увеличивалась (его оставляли здесь не из уважения перед отвращением Пеанта к оружию, но из почтительного страха перед луком и стрелами Геракла), все чаще устраивались пирушки в честь знатной охотничьей добычи, и кровь настолько пропитала землю вокруг дома, что каждую ночь приходилось насыпать новый слой пыли, чтобы хоть как-то пригасить запах животной крови.

В те, первые годы, получив оружие, равного которому по красоте, размерам и точности не было во всей Греции, Филоктет сохранял ясную голову, оставался гибким и тренированным. И никогда не позволял теплым, убаюкивающим похвалам опутать себя, поглотить его существование и самоощущение. В те годы молодой стрелец был нетерпимым, амбициозным, обаянным желанием подтвердить, что он и без знаменитого оружия, без Гераклова лука в состоянии отстоять титул провозвестника смерти. И потому он с определенной сдержанностью и недоверием принимал хвалы старших, но менее удачливых охотников, неизменно занижая в мыслях похвалы, которыми они его осыпали.

Тем не менее, по всей Фессалии, которая полого спускалась к морю от Эты и высокогорных лесов, чтобы перед солоноватыми голубыми просторами невероятной, огромной массы воды завершиться высокими скалами, словно обрубленными саблей и оставленными истекать над морем желтоватыми меловыми откосами (совершенно голыми, словно жилы и вены, нервы и их окончания иссеченного мертвого тела, вымокшего, бескровного, лежащего над водой), по всей Фессалии в кратчайшие сроки начал гулять миф о ловкости Филоктета. Он стал искушением для самого охотника, но Филоктет мужественно противился ему. Иной раз ему казалось, что владение оружием изменило его, как будто в новом порядке вещей его имя, означавшее «любовь к обладанию», вопреки его собственному желанию приобрело некий иной смысл.

В обычный деревенский дом, стены которого он за два года украсил головами серн, оленей, рысей, кабанов, козлов, орлов, ястребов, диких быков и прочих химер, оживший в результате этого сборища мертвых духов, шкур, челюстей, выпученных глаз, начали приходить на поклон охотники из всех эллинских краев, а также торговцы, желающие в обмен на золото приобрести оружие. Любезно принимая их, не более того, молодой человек охлаждал их пыл. Для него расставание с оружием, которое он бережно прятал даже от самого себя (хотя в этом не было нужды при наличии диких собак, заботливо охранявших дом, шатаясь по двору и слушаясь только хозяина), было бы очень болезненным и абсурдным поступком. Как, скажем, если бы ему кто-то отрезал ногу. Таким образом в его телесной оболочке вели непрерывный бой охотник и стрелец, и второй непрерывно побеждал первого, не позволяя своему телесному владыке ни на секунду стать настоящим охотником. По правде говоря, еще одна вещь препятствовала в нём победе охотника.

Головы трофеев, которыми он украшал стены жилища, слишком быстро разлагались. Несмотря на старания многочисленных бальзамировщиков и кожемяк, головы животных съживались, сморщивались, и в конце концов, не позже чем через месяц, окропленные, видимо, таинственным ядом, полностью разлагались. Так что время в доме Пеанта, начиная с первого трофея сына (то была рысь), приобрело некое новое измерение, потеряв свой прежний облик. В его пространстве поселились картины скорого исчезновения отнятой жизни.

Это паломничество и попытки купить оружие помогли молодому человеку сделать многочисленные полезные знакомства, а иной раз и подружиться с кем надо. Так, в его в доме побывали Диомед по прозвищу «божественная мудрость», Аякс, «храбрец кровожаждущий», Идомей, король Крита, Тесей, Патрокл, Менелай, а также Одиссей, известный как «злой». Последний был ему особенно симпатичен. Тогда еще никто не мог даже предположить, как переплетутся их жизненные пути, как это обычно случается с людьми хитрованских взглядов и двусмысленными и обращениями друг к другу, которые пытаются, описывая широкие концентрические круги, ворваться в круг мыслей противника, уверяя при этом друг друга, что их неправильно поняли и что их намерения чисты, словно слеза ребенка. В то время никому и в голову не могло прийти, что поначалу они станут соперниками в сватовстве к прекрасной Елене, спартанской принцессе, а потом и соратниками, один в качестве подстрекателя (Филоктет), а второй – как дезертир (Одиссей). Ему импонировал этот царевич с Итаки, который преодолел столь долгий путь, чтобы выкупить лук за большие деньги. Юноше в тот вечер, когда гости сидели вокруг костра, позволяя собакам вылизывать пятки, чтобы отличить их от чужаков, исключительно понравилась взволнованность царевича, вызванная таким неформальным приемом, понравилась его страсть к деньгам, страсть к расчетам и сделкам, во время разговоров о которых кривой нос Одиссея все больше походил на лук. Хотя, кто знает, может, ему это вовсе и не нравилось.

– С приличествующим уважением должен отметить, – пробормотал той ночью стрелец с лицом, опаленным костром, – что ты слишком много внимания уделяешь цене и уговору, хотя еще не осмотрел как следует оружие, за которым ты пришел, не восхитился моему искусству охотника, не заинтересовался трофеями, что висят на стенах моего скромного дома, как будто для тебя главное не смысл, а средство охоты!

Одиссей элегантно составил ответ, как будто каждое слово висело на его воротах, быстро смотав их на руку и вложив себе в уста. В ответе слышалось и остроумие, и обход неприятных моментов, которые, откровенно говоря, никто и не замечал, но в его словах звучала и гордость, некая приподнятость, и, в конце концов, он использовал термины, которые Филоктет наверняка не знал, напомнив ему тем самым, что он всего лишь сын пастуха, случайно овладевший замечательным оружием, случайно оказавшийся в этом забытом богами краю, где Гераклу волею судеб довелось закончить жизнь, хотя ему это следовало бы сделать в Итаке.

Филоктета очаровал этот тон – не существо слов, а именно тон, потому что юноша не привык к лукавству в таких масштабах. В те годы он знал лишь одно действие – атаку. В лоб.

Той ночью он долго думал. Существуют ли стрелы, которые не вылетают из лука, стрелы, для посылы которых не требуется острота зрения и твердость руки, для посылы которых не надо ловить то единственное, неделимое мгновение, когда она срывается с тетивы?

Изумившись внезапным, только что возникшим вопросам, Филоктет ранним утром проводил Одиссея, который, не скрывая огорчения, был вынужден с пустыми руками вернуться на остров. Примерно так же обстояли дела и с прочими визитерами, примерно так же вел себя с ними и Филоктет, упрямство которого, отрывавшее его от служения собственному искусству, от преданности действу охоты, потихоньку ломало зубы о стену презрения, выросшую из его неблагородного происхождения. Никогда и никому он не позволял прикасаться ни к оружию Геракла, ни к ремням и колчану, которые Геракл носил годами, вживаясь в лук и стрелы и позволяя оружию (наверняка он поступал так, потому что и Филоктет начал вести себя точно так же) вращаться в себе. По причинам чисто человеческим. Из ревности.

Он боялся, что в чужих руках знаменитый лук станет более гибким, точным, намного смертоноснее, и предполагал, что материал, из которого был создан предмет его сурового, беспощадного обожания, оказавшись в чужих руках, уже при первом выстреле дал бы чужаку куда больше любви, нежели ему самому. Со временем тонкий слух молодого человека стало оскорблять даже само выражение «оружие Геракла». Спустя некоторое время он исключил из своего лексикона имя прежнего владельца, уверившись в том, что, вычеркнув из прошлой жизни оружия следы присутствия Геракла, еще сильнее привяжет лук и стрелы к себе. Он начал ощущать невероятной силы беспокойство, ладони делались мокрыми от пота, когда он рассказывал кому-нибудь о встрече с великаном. Такие рассказы, казалось, отдаляют его от смертоносной любовницы, а оружие возвращается в руки бывшего мужа, в руки владельца настоящего, ему пока неизвестного волшебства.

И потому он все время стремился в леса, на скалы и дикие поляны, где они оставались только вдвоем, забыв об окружающем мире, слившись в тепло, единственно осмысленном действии... в объятиях. Созданные друг для друга, оружие и его хозяин, растворились в природе, стали неотъемлемой частью дикого мира, который окружал их, получив, наконец, возможность забыть про остаток рода человеческого и предметы, произведенные его руками, были вечно начеку, всегда готовые в любом шорохе, который встречал их в кустах или подлеске, в каждом движении увидеть себя, словно в зеркале. Филоктет узнавал себя в движениях испуганного животного, по следам которого мчался, а оружие ощущало себя в свисте, шипении, воплях добычи. Так они претворяли совместное существование в гармоничную жизнь с дикой природой, составной частью которой они стали, хотя и по другую ее сторону, поскольку сеяли всюду смерть.

Родной дом Филоктета пополнялся бальзамированными головами жертв, головами, которые месяц спустя выбрасывали на свалку рядом с ручьем, журчание которого не справлялось с царящим смрадом, возникавшим от соприкосновения яда с мясом. Филоктет становился все более ловким в охоте, на которую тратил свою мощную, вновь и вновь возникающую энергию, а оружие все в большей мере становилось его продолжением. Казалось, он сам превратился в лук и стрелы.

Однако временами ему чудилось, что сам превращается в добычу. Непротивление жертвы смерти, попытка побега, а после попадания – пассивное ожидание момента, когда всё вокруг жертвы угаснет, заставляло его задумываться. И, как это бывает, когда отдельные детали и предположения в одно прекрасное мгновение обретают кристальную ясность, когда длительное накопление впечатлений укладывается в единую оценочную матрицу, в Филоктете стала прорастать некая неопределенная злость из-за возможностей, которые предоставляла ему нарастающая охотничья ловкость. Злость из-за животной, оргастической радости в момент

убийства. Неужели Космос в самом деле так искривлен, сотворен так, что в человеческие руки вложено уничтожение, убийство ради оттачивания мастерства, убийство ради спорта?

Филоктета неотступно преследовала мысль о том, что всё его существование свелось к роли обыкновенного палача.

Со временем он все более ощущал, что становится рабом оружия, и для того, чтобы удовлетворить ненасытную любовницу, придумывает беспричинные поводы, чтобы начать очередную охоту, нуждается в каждодневном преследовании и убийстве дичины, перестает быть энтузиастом, великолепно владеющим искусством охоты, и превращается в холодного профессионала, идеально освоившим механизм смерти.

С тех пор каждый взгляд на лук, утром, сразу после сна, был исполнен дрожи, неуверенности, боязни, что в наступающем дне растворится его умение, что он окажется в дурацком положении, усиленно припоминая опыт вчерашнего дня, что не сумеет правильно натянуть тетиву, точно прицелиться и попасть в жертву. Наступил сезон дождей, и любовник чувствовал себя брошенным, совсем как человек, которого навсегда покинул предмет его обожания, оставив в сердце зияющую пустоту. Конечно же, как это и случается с любовниками, странное ощущение беспомощности не делало его бессильным, напротив, оно все сильнее гнало его мышцы и инстинкты в леса и поля, не позволяло удовлетвориться одной жертвой в день. Незаметно, шаг за шагом он терял точность и терпеливость, и уже не мог планировать свои действия, не ощущая более обостренного слияния собственного духа с луком, стрелой и жертвой, и это заставляло его в бешенстве выпускать стрелу за стрелой.

Никто, кроме него самого, не был в состоянии обнаружить эти перемены, и со временем его малая религия настолько извратилась, что превратила заклятого стрельца в проклятого охотника. Добыча стала единственным смыслом преследования, терпения, выжидания в засаде, растворения в природе, оглядывания пространства, и только потом следовало натяжение тетивы, прицеливание и задержка дыхания. В конце концов, важнее всего стала смерть. На первый взгляд, все эти изменения отражались всего лишь в неприметном сужении зрачка, которое только очень проницательный собеседник мог заметить во взгляде Филоктета. Тем не менее, к нему продолжали приходиться охотники, но уже не для того, чтобы вечером, у костра, рассказывать друг другу невероятные истории, но чтобы подбить юношу пересказать в деталях (а он обращал в слова мельчайшие подробности минувшей охоты настолько точно, что никто не мог с ним соперничать в этом) все фазы убийства животного и поведения добычи в смертный момент. Его все еще навещали торговцы, и на притолоке его двери оставляли зарубки, вырезали в дереве знаки, которые, возвращаясь с пустыми руками, они оставляли для сведения конкурентов, которые наверняка придут к юному охотнику выторговывать лук.

Юноша перестал демонстрировать оружие гостям, прекратил хвастаться им. Теперь он заворачивал его в огромные дубленые шкуры, демонстрируя его лишь безоблачному небу Фессалии, и то лишь тогда, когда заходил в дикую чащу и наверняка оставался один-одинешенек. Но, как это зачастую бывает в случаях ревности, не имея ни единого повода заподозрить любовницу, скверное чувство глубоко сидело в душе юноши, постоянно требуя доказательств любви и вызывая панический страх. К тому же, факт сокрытия оружия быстро вызвал сильное недовольство в народе.

Пеант по-прежнему занимался козами, перейдя на постоянное жительство к ним в маленькую дощатую постройку, а Демонасса лишь изредка входила в собственный дом, чтобы помочь женщинам очистить стены от смердящих трофеев, место которых тут же занимали новые, так что в доме оставался жить один Филоктет. Напрасны были ее старания принудить Филоктета к браку с какой-нибудь милой девушкой из Фессалии, напрасно негодовали местные жрецы, а также Тахам, фессалийский первосвященник, который заметил, что юноша не перестает игнорировать волю богов. Филоктета даже на секунду невозможно было оторвать от его невесты. Люди все подозрительнее посматривали на вчерашнего героя. Разве это не

он в ночь полнолуния, когда Гера запрещает охотиться, вернулся с тремя дикими баранами на голых, окровавленных плечах, настолько залитый кровью, что его почти невозможно было узнать? Разве не он измазал кровью даже губы, не опасаясь уже отравы, разве не он, умытый кровью, смотрел с таким безумием во взоре, словно сам оказался на огромном костре рядом с Гераклом?

Языки какого пламени лизали отважного и удачливого охотника, юношу, который в тишине, с призрачным спокойствием делал свое дело, словно ведя тайный, скрытый диалог с собственной судьбой? Что за мутные воды омывали его мощь и силу? Однажды его прежние обожатели открыто возмутились тем, что им больше не показывают оружие, как будто эти чудесные провозвестники смерти превратились в некий палладий, тотем, запретный и обожаемый предмет. Под крики и удары палкой Филоктет отогнал их от своего дома. Так притча о храбром и непогрешимом охотнике стала изменяться, обращаться в собственную противоположность во время долгих скитаний по пыльным греческим дорогам, от рассказчика к рассказчику, и со временем Филоктет стал недостойным человеком, не заслуживающим обладания таким мощным оружием, теперь он был опасен даже не столько для людей, сколько для самой Геракловой реликвии. И стали расти ряды претендентов, возникали списки желающих заполучить оружие, и на фессалийском плоскогорье замаячили силуэты уже не торговцев, но грабителей.

В один прекрасный день, когда ветерок шнырял по земле, вздымая небольшие клубки красноватой пыли с троп, проложенных по целине, в поселок, без сопровождения и предупреждения, вошел хорошо тренированный человек, на обнаженном плече которого покоился великолепный лук. Говорят – кто-то из селян узнал его по рассказам и описаниям – что он пришел с Родоса, чтобы вызвать охотника на поединок. Добравшись до дома Филоктета, он с грохотом бросил на землю оружие. Вместе с этим оружием в жизни Филоктета рухнула целая декада.

Человека звали Кратех, или «Тот, чья душа призывает».

– Нелегко было, о пастух, совсем не просто было одолеть такой путь с острова до твоей дыры, которой только высокая гора может придать хоть какую-то серьезность, трудно было плыть по бурному морю, – разукрашивал пришелец свою речь так, как это всегда делали обитатели Родоса, стараясь таким образом упрятать обычную глупость вырожденцев-островитян. При этом он избегал смотреть Филоктету в глаза, уперев взор куда-то выше, в лоб: – Но, вот видишь, о пастух, я пришел, чтобы вызвать тебя. Пойдем на волю, в твои нищие уголья, поставим перед собой цель – скажем, какое-то число дичи, и посмотрим, кто из нас лучший.

– Я не знаю тебя, стрелец, и не понимаю, почему ты так отвратительно и безобразно говоришь о человеке, которого увидел впервые в жизни? Скажи, есть ли причины, по которым я могу отказаться принять твой вызов? – Филоктет отвечал ему, сдерживая дыхание после каждого слова, как будто прямо сейчас ему надо прицелиться и неотвратно выстрелить.

– Если ты не примешь вызов, то вся страна узнает, что ты не сошел с ума, как говорят теперь, а просто струсил. Если победа будет за мной, ты отдашь мне оружие, и наконец-то оно попадет в руки того, кто сумеет оценить его по достоинству и употребить в дело!

– А если ты проиграешь? – кровь клокотала в теле Филоктета; их беседа все больше напоминала схватку двух самцов за обладание самкой.

– Тогда ты убьешь меня, разрубишь мое тело на мелкие кусочки, которыми накормишь своих псов, кишки натянешь вокруг дома вместо ограды, а голову приколотишь к стене! Ну, пошли? – Кратех говорил спокойно, будто не разрывал словами свое тело на части.

– Пошли! – ответил Филоктет.

## IV

Возвращаясь налегке, с невесомым коромыслом на плечах – инструментом, который в минуты глубочайшего самосозерцания или погружения в редкие свободные минуты меж обычных занятий и хлопот по поводу раны на ноге неодолимо напоминал ему оружие, от которого он отказался, но которое постоянно возникало перед его взорами, которые он беспрестанно, хотя и скрытно, бросал вокруг себя, маня прежнего владельца вернуться и простить ему всё – Филоктет плелся по тропе к хижине, попирая землю неуверенными и крайне замысловатыми движениями ног. Тропа была высечена в скале над морем, местами обрызганная каплями возмущенной воды, в облачные и ветреные дни захлестывающей проторенную дорогу. Итак, путь этот был каменист и лишь местами присыпан бесплодным лемносским красноземом, и со стороны моря напоминал сломанную челюсть великана, клыки которого были из белого, чуть пожелтевшего, известняка.

Мужчина хромал, ковылял, время от времени пользуясь коромыслом как посохом, а иной раз, для поддержания равновесия, как шестом канатоходца, и все это время он не мог отделаться от мыслей, в которых он нынешнее свое состояние рассматривал всего лишь как отблеск, как бледную, на мгновение ослепляющую, но в действительности ложную, пустопорожную копию прежней сути. Попав на этот остров, он уже не мог согласиться с тем, что смысл, цель его судьбоносно спланированной жизни рухнула, не увязываясь с физическим бытием, не прекращая ни его, ни непрерывной борьбы за существование. Таким образом, брошенный кем-то, о ком он никогда не мог с уверенностью сказать, что Тот существует, со временем поняв, что Тот, Кто царит над ним, на самом деле есть никто – Филоктет вынужденно продлевал жизнь, делая вид, что ему никто и никогда не был нужен.

Мужчина нервно стряхнул с себя мысли, словно они были надоедливыми насекомыми, которые, учуяв пот прокисшего тела, прилипли к нему, и ловко перебросил закинутую перед этим на спину шкуру опять на грудь, которая, оросившись нездоровым и не только напряженной ходьбой вызванным потом, стала вздыматься все выше и выше из-за крутизны высеченной в скалах тропе. Вдруг ему показалось, что воздухом пронеслось козье бляение, донесенное струями ветра; в это мгновение ему даже показалось, что он узнал нервный, изголодавшийся голосок Конелии, но потом все стихло, и ветер продолжил свой лёт, унося с собой этот звук, а может и не звук, а просто видение и тоскливое желание приблизиться к дому. Филоктет перевел взгляд вверх, к горизонту и истоку тропы, на вершине скалы сливавшейся с мутным небом, на возвышенность, ставшую величайшим испытанием для его больной ноги, особенно в такие жаркие дни, как сегодняшний, когда рана вновь открывается, выставляя на обозрение только что народившегося дня очередной образчик смердящего, ядовитого гноища. Филоктету показалось, что на самой вершине прибрежного холма вырос пыльный гриб – неотвратимое свидетельство какого-то передвижения. Усталого мужчину на мгновение охватила слабость, вызванная, возможно, неготовностью к встрече с кем-либо, и он остановился, избрав позицию, в которой легче всего было хранить равновесие. Сбросив с плеч коромысло, он ухватил его как дубину, которой, если придется, можно будет оборониться от приближавшегося островитянина.

Однако пыльный гриб осел, и вскоре Филоктет сквозь легкую дымку разглядел, что навстречу ему движется другой хромоногий, с напряжением совершая шаги, поразительно схожие с его собственными. Симметричное кольхание приближающегося убогого тела показалось ему в молниеносном движении времени зеркалом, которое с некоторым опозданием повторяет его облик и походку, пока не рассмотрел, что навстречу движется ребенок с гниющей на ноге раной. Это Велхан шагал навстречу отцу. Его маленькое тельце осваивало пространство ловкой хромотой, без гнева, без малейшей злобы, не осознавая, что в принципе можно ходить

иначе, легко, без напряжения, ибо он не мог представить себе, что существуют люди со здоровыми ногами. Глядя, как сын ковыляет навстречу, не считаясь с собственной хромотой как с препятствием, Филоктет не мог не задуматься над тем, как его нецелимая рана воздействовала на плод его семени, но и на этот раз перед глазами пастуха так и не возникла картина судьбы или проклятия, а просто в душе возникло примитивное чувство гордости за свершившийся факт продления собственного существования.

Ребенок по-своему был для него, да и для Хрисы, в большей степени раной, нежели сыном. Глядя на него, Филоктет понимал, что еще тысячу раз он проклянет себя, что еще тысячу раз он подавит желание жить дальше, чтобы заставить себя полюбить рану ребенка, который был им рожден с собственной незаживающей язвой. А Хриса, потеряв двух своих дочерей, которых, впрочем, никогда не считала воистину своими, принимая во внимание обстоятельства их появления на свет, была просто вынуждена видеть в Велхане кару небесную. Кару за переезд в хижину чужака, за то, что она влюбилась в этого высокого мужчину, грека, а не лемноссца, который каждой клеточкой своего тела был настолько иным, что следовало искать от него спасения, потому что он всем своим обликом вываливался из обыденной жизни загнивающего сообщества островитян – этого стада недочеловеков. Наверное, именно потому она любила сына более, чем любое другое живое существо, больше, чем Филоктета, потому что она видела в Велхане сначала ожидаемое наказание, и только потом – ребенка.

Охотник, как и неоднократно прежде, всматриваясь в походку хромого ребенка, подумал, что, видно, единственное спасение, единственный выход из сложившейся ситуации, из этой фантастически призрачной жизни есть самоуничтожение. Самоубийство. Он, как и прежде, возжелал, чтобы этого ребенка не было, чтобы Велхан прямо на его глазах превратился в пыльную дымку, чтобы он утвердился в его сознании как призрак, привидение, противостоящее живому и отравленному крохотному человеческому тельцу. Но в тот момент, когда ребенок, жадно распахнув руки в предчувствии отеческого объятия, приблизился к нему вплотную, в душе Филоктета вновь что-то расщепилось, глубоко расколосось, и в ней возникла трещина, вызвавшая утробный, из недр идущий крик, опустошение, вывернувшее нутро наизнанку, и вновь возникшее человеческое существо покрылось снаружи внутренними органами и слизистой, в то время как кожа осталась внутри, и это новое существо в мгновение ока превратилось в воплощенную боль, в мощный генератор чувства, с бешеной скоростью влекущего к смерти. К смерти, вызванной невероятной массой ощущений.

И вот так, вновь переменившись, в мгновение ока обрушившись внутри себя самого, Филоктет рванулся в объятия к сыну, осыпая поцелуями чело и лицо человека, который, осуществив свое желание, сразу утратил к нему интерес, и так вот, лаская его, он старался не оцарапать огрубевшими пальцами тщедушную ткань тела своего наследника. Смерд детской язвы достиг его ноздрей, смешавшись со смердом боевого яда Геракла и собственным смердом Филоктета, и в крыльях его носа зашевелились мелкие насекомые, крошечные мураши. Он подумал о Хрисе. Почему эта женщина обречена жить в смерде, который у каждого нормального человека, от греческого воина до обитателя Лемноса, вызывает отвращение и боязнь галопирующей во весь опор смерти?

И тут они оба вздрогнули. Внезапно, без всяческого предвестия, с моря донесся пронзительный звук – рев рыбацких сигнальных труб. Мужчина, не выпуская из объятий ребенка, обернулся к морю. Над поверхностью бескрайней водной лазури, стесненной хмурым небом, разнесся этот звук, звук тревоги. Впервые Филоктет услышал эти трубы в тот день, когда, угнетенный смертельной болью, стертый в порошок лихорадкой и желанием как можно скорее покончить с собой, лежал на палубе судна, приближавшегося к Лемносу. Вот и теперь этот звук упреждал островитян о приближении чужого корабля. Ребенок заплакал. Филоктет бросил еще один безнадежный взгляд в пучину. Там не было ничего. Однако его не оставляла уверенность, что с какой-то иной стороны, из-за холма, который скрывал собою море, приближается судно.

За время его пребывания на острове подобное случалось всего несколько раз. Как правило, это были заплутавшие рыбаки, реже – торговые суда, экипажи которых принимали завесу из облаков за воздушный карман (именно такой был недалеко от Трои), хотя на деле это было последствием вихрей, пронесившихся над островом.

Может, война закончилась, и распущенное войско, троянское или греческое, шатается по окрестностям?

## V

Весь этот маскарад, спектакль, устроенный Кратехом, равно как и преувеличенный интерес фессалийцев к исходу поединка, сначала вызвали у Филоктета привычное отвращение. Юноша и прежде не опасался за исход подобных дуэлей, черпая силу и самоуверенность в священнодействии со своим оружием и всеми его составными частями, и после таких откровенных угроз и хвастовства он еще больше уверился в себе, намного больше, чем когда-либо. Уверенность и непоколебимость воли проистекали не из мощи, которой само по себе обладало его оружие, но его истинный покой и хладнокровие опирались на полную уверенность в том, что его связь с оружием, его страстная любовь к луку и стрелам, к природе и охоте – вечны.

Тем не менее, втягиваясь против воли в поединок, понимая, что в конце соревнования победа будет на его стороне (Кратех хитроумно провоцировал в нем охотника, предлагая соревноваться в количестве и качестве добычи, а не в ловкости и точности стрельбы), он знал, что соперничество не закончится мирным уходом проигравшего, и что ему, скорее всего, придется спустить всех своих собак на более сильного и старшего конкурента. Отвращение вызывали у него и распускаемые слухи о том, что он сошел с ума, что, утратив разум и человеческий облик в общении с прочими охотниками, он утратил и право на обладание таким великолепным оружием, данным ему богами. Эти слухи вызывали у него не просто отвращение, но и ненависть, потому как были еще одним доказательством того, что сообщество людей (это он ощутил в раннем детском возрасте) всего лишь паутина лжи и сплошное бесцеремонное вмешательство в чужую жизнь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.